

63.3(2)222

Т-83



Ю. В. Туманов

ДЕСАНТ

*Документальная повесть
о героизме воинов, сражавшихся
за освобождение Юхнова*



БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ



Сюда в конце февраля 1942 г. прорвался десант 1154-го полка, захватив в тылу врага единственную дорогу к фронту. Отбиваясь от тысяч фашистских солдат, держался на Варшавском шоссе, не пропуская немецкие резервы и танки, пока не погиб. Из 600 человек вернулись 12. Подвиг десанта под командованием капитана Г. О. Кузнецова дал возможность 50-й армии освободить многие населенные пункты Калужской области и г. Юхнов.



Ю. В. Туманов

ДЕСАНТ

*Художественно-
документальная повесть
о героизме воинов, сражавшихся
за освобождение Юхнова*

Юхновская ЦБС
Калужской обл.

ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1988

19393-

03.3(2)222
Т-83

Юрий Викторович Туманов

ДЕСАНТ

Редактор Г. Н. Губанова. Художник В. С. Кошечкин. Художественный редактор Н. К. Захаров. Технический редактор С. А. Тилляева. Корректор Г. Г. Иончева. ИБ № 1601.

Сдано в набор 20.05.87. Подписано в печать 12.11.87. ЦП 09468. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,65. Усл. кр.-отт. 7, 7. Уч.-изд. л. 7,09. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2865. Изд. № 32. Цена 30 к. Приокское книжное издательство, 300000, г. Тула, Красноармейский пр., 27. Типография «Труд», 302030, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Т83 Туманов Ю. В.
Десант.— Тула: Приок. кн. изд-во, 1988.— 151 с.,
ил. («Бессмертие»).

30 к. 10 000 экз.

Документальная повесть ветерана Великой Отечественной войны, бывшего воина-артиллериста 1154-го стрелкового полка, командовавшего два года противотанковой артиллерийской батареей, переносит нас в первую страшную военную зиму, в бесконечный жестокий бой за небольшой город Юхнов, один из первых отбитых у гитлеровцев городов, последний город, освобожденный в московском контрнаступлении 4 марта 1942 года. 1154-й полк сражался за этот город жизни не щадя. Из 600 человек, участвовавших в десанте на Варшавском шоссе, лишь 12 остались в живых.

Адресована широкому кругу читателей.

63.3(2)722.4
9(с)27

Т 0505030202—32 — 3.88
М154(03)—88

© Приокское книжное издательство, 1988.



ПРЕДИСЛОВИЕ

События, описываемые в документальной повести Юрия Туманова «Десант», происходят на завершающем этапе битвы за Москву, где в то время все было на пределе сил — и у противника, и у наших войск. Именно на этом этапе Красная Армия вывела из строя у гитлеровцев 16 дивизий. И как свидетельствуют немецкие источники, с января до конца марта 1942 года потери группы армий «Центр» в живой силе составили 333 тыс. человек.

Как известно, Ставка Верховного Главнокомандования директивой от 16 февраля 1942 года потребовала от главнокомандования Западного направления мобилизовать все силы Калининского и Западного фронтов для завершения разгрома группы армий «Центр» и полного уничтожения группировки противника, действовавшего в районе Ржев — Вязьма — Юхнов. Для выполнения этой директивы было решено сначала 22-й, 30-й и 39-й армиями Калининского фронта и 43-й, 49-й и 50-й армиями Западного фронта нанести поражение оленинской и юхновской группировкам противника, а затем объединенными усилиями обоих фронтов завершить разгром его главной группировки. В результате последовавшего наступления противник на гжатском и юхновском направлениях был отброшен на 80—100 километров, освобождены многие районы и вызволены из фашистской неволи многие тысячи, сотни тысяч советских граждан.

Но полного разгрома враг все же избежал. Перебросив на этот участок 12 дивизий из Западной Европы, противник остановил наступление наших войск на запад.

Как показали события, перед войсками Западного направления были поставлены чрезмерно сложные задачи. Наступление Калининского фронта успеха не принесло. А на Западном 43-я, 49-я и 50-я армии в многодневных ожесточенных боях только в начале марта 1942 года смогли срезать юхновский выступ и освободить город Юхнов.

Для содействия войскам Западного фронта в район юхновской группировки советское командование решило десантировать западнее Юхнова 4-й воздушно-десантный корпус с частями усиления. С 16 по 24 февраля в тыл противника было выброшено 7373 парашютиста и 1525 тюков с боеприпасами, вооружением, продовольствием и разным имуществом.

Однако несмотря на самоотверженность полков и дивизий, непосредственно участвовавших в боях, соединиться с действующими в тылу врага 33-й армией генерала Ефремова, воздушно-десантным корпусом и кавалерийским корпусом генерала Белова войскам Западного фронта так и не удалось.

Действиям одного из стоящих здесь на смерть полков — 1154-го — и посвящена повесть «Десант».

На протяжении первого года Великой Отечественной войны Варшавское шоссе не раз бывало свидетелем того, как не очень большие подразделения и части, вступая в бой с противником, который многократно превосходил их по численности, останавливали продвижение врага, наносили ему немалый урон, а главное — помогали выполнению нашими войсками операций крупного масштаба. Так, осенью 1941 года парашютисты Западного фронта под командованием капитана Старчака на целую неделю задержали продвижение немецкой 4-й полевой армии. А было их всего 350 человек. Затем, и тоже неделю, сдерживали эту армию на ильинских рубежах подольские курсанты, закрыв тем самым фашистам дорогу на Москву по Варшавскому шоссе, дав время подтянуть к Москве резервы для обороны. Несравнимые по количеству, но стойкие и самоотверженные, они помогли отстоять столицу.

В этот же ряд можно поставить и десантников 1154-го стрелкового полка, которые в конце февраля 1942 года, оседлав Варшавское шоссе в тылу юхновской группировки войск, помогли успешным

действиям 50-й армии под Юхновом. Это стало одним из существенных звеньев последнего этапа московского контрнаступления.

В эти дни каждая дивизия, каждый полк и даже батальон или рота стоили очень многого. Артиллерийские орудия, как вспоминает командовавший тогда Западным фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, приходилось буквально выпрашивать у Верховного Главнокомандующего, даже если это и было 10—15 орудий ПТО. Снарядов получали мало, порою по 1—2 снаряда на орудие в сутки. И если удавалось на каком-либо участке сосредоточить достаточное количество стволов, то эти удачи всегда обеспечивали результативность операции.

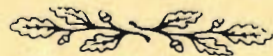
В повести вполне убедительно показано, как и отдельное орудие, расчет которого сражается стойко и уверенно, придает необходимую прочность и жесткость обороне пехоты, даже при том, когда огромная плотность обрушенного на нее огня и многократен перевес сил.

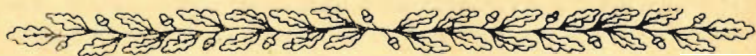
Та стойкость, с которой сражается в десанте 1154-й стрелковый полк, вообще характерна для первого года войны, т. к. обстановка часто не оставляла иного выхода, а личные качества воинов Красной Армии были достаточно высоки. Стойкость оставалась такой же и до конца войны, но соотношение сил тогда было уже совсем другим. Недаром Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминает: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

Эта битва не забывается никем из ее участников.

Документальная повесть «Десант» хорошо показывает нынешним поколениям, как беззаветно, до самопожертвования включительно сражались воины Красной Армии с сильным и опытным противником в московском контрнаступлении.

*В. ТОЛУБКО,
Главный Маршал артиллерии*





Командиру полка Георгию Осиповичу Кузнецову, комбату Котунову, убитым на Немане летом 1944 года, командирам огневых взводов Анатолию Попову и Григорию Камениру, разорванным бомбой вместе со своими орудийными расчетами зимой 1942 года в калужской деревне Проходы, и всем однополчанам, товарищам по 1154-му стрелковому полку 344-й дивизии посвящая эту повесть.

А В Т О Р

Тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел навстречу своей смерти. Впрочем, это не совсем так: полки умирают редко. Даже если бойцов в них почти не остается. Командиру его — майору Минину, политруку Ненашкину и Корсунскому, начальнику связи лейтенанту Дуклеру, комбату Белошапкину, красноармейцам Попову и Михалевичу, сержантам Нестерову и Фенеши, санинструктору Рыбаловой и многим, многим другим предстояло остаться на поле боя, в земле, самим стать землей, но имя свое — тысяча сто пятьдесят четвертый полк — оставить людям, навсегда связав его с опасным, героическим, беспощадным словом — десант.

Они пока еще об этом ничего не знали. Ни о гибели, ни о вечной посмертной славе десанта. Они просто шли безлесными снежными полями Мосальского района, оставляя позади другой районный центр будущей Калужской области — город Юхнов. Пробивались сквозь почти непроходимые, местами чуть не в рост человека снега.

Не каждому на войне выпадает счастье умереть за город, хотя бы и за малый. Чаше, намного чаще солдатская жизнь обрывается в бою за бугор, за опушку леса, за безымянный мост на безымянной дороге. Тысяча сто

пятьдесят четвертому полку повезло. Он должен был умереть за город Юхнов.

С трудом одолевая февральские сугробы, бездорожье, пургу, теряя десятки людей обмороженными, выбившимися из сил, надорвавшимися, шли вперед роты, таща на себе сотни пудов оружия, патронов, гранат, хлеба, всего, чем живет бой. Война лихих ударов, блеска полководческих озарений, прорывов, гениальных маневров — все это короткие всплески счастья, спрессованные потом в воспоминаниях, заслоняют они будни войны, ее повседневность: изнурительную переноску тяжестей, воловьую солдатскую работу грузчиков.

Мертвые товарищи сотнями оставались лежать непогребенными в полях у деревень Чернево, Чебери, Лунево... Пурга заметала их. Разрывы немецких снарядов не оставляли в покое, доставали и там, в небытии, перекачивали заледеневшие трупы, кромсали, били, кололи на части. Живые уходили от них все дальше и дальше. Помнили, горевали, клялись отомстить, но все шире становилась разделяющая их белая равнина, по которой шли вперед, к бессмертию, те, кто пока еще был жив.

Если бы до войны сосчитать население этих двух районов, то не набралось бы и сорока тысяч человек. Теперь под Юхновом сгрудилось друг против друга чуть ли не полмиллиона людей — четыре армии. Три из них наши: пятидесятая, сорок девятая и сорок третья. А у гитлеровцев четвертая полевая.

Судьбу всей этой войсковой громады должен был в ближайшие дни решить поредевший, численностью теперь едва ли превышавший нормальный довоенный батальон тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Мог ли он сделать это?

А сколько раз на войне бывает возможно невозможное? На то и надеялись те, кто посылал его в бой, откуда не было возврата.

Два месяца безуспешных сражений под Юхновом

63.3(2)222

П-83



Ю. В. Туманов

ДЕСАНТ

*Документальная повесть
о героизме воинов, сражавшихся
за освобождение Юхнова*



БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ

БЕССМЕРТИЕ



Сюда в конце февраля 1942 г. прорвался десант 1154-го полка, захватив в тылу врага единственную дорогу к фронту. Отбиваясь от тысяч фашистских солдат, держался на Варшавском шоссе, не пропуская немецкие резервы и танки, пока не погиб. Из 600 человек вернулись 12. Подвиг десанта под командованием капитана Г. О. Кузнецова дал возможность 50-й армии освободить многие населенные пункты Калужской области и г. Юхнов.



— 19393 —

Ю. В. Гуманов

63.3(2)222
Т-83

ДЕСАНТ

*Художественно-
документальная повесть
о героизме воинов, сражавшихся
за освобождение Юхнова*

Юхновская ЦБС
Калужской обл.

ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Калужской обл.

ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

1988

63.3(2)722.4
9(c)27
Т83

Юрий Викторович Туманов

ДЕСАНТ

Редактор *Г. И. Губанова*. Художник *В. С. Кошечкин*. Художественный редактор *Н. К. Сахаров*. Технический редактор *С. А. Тиляева*. Корректор *Г. Г. Иончева*. ИБ № 1601.

Сдано в набор 20.05.87. Подписано в печать 12.11.87. ЦП 09468. Формат бумаги 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 6,65. Усл. кр.-отт. 7, 7. Уч.-изд. л. 7,09. Тираж 10 000 экз. Заказ № 2865. Изд. № 32. Цена 30 к. Приокское книжное издательство, 300000, г. Тула, Красноармейский пр., 27. Типография «Труд», 302030, г. Орел, ул. Ленина, 1.

Туманов Ю. В.

Т83 Десант.— Тула: Приок. кн. изд-во, 1988.— 151 с., ил. («Бессмертие»).

30 к. 10 000 экз.

Документальная повесть ветерана Великой Отечественной войны, бывшего воина-артиллериста 1154-го стрелкового полка, командовавшего два года противотанковой артиллерийской батареей, переносит нас в первую страшную военную зиму, в бесконечный жестокий бой за небольшой город Юхнов, один из первых отбитых у гитлеровцев городов, последний город, освобожденный в московском контраступлении 4 марта 1942 года. 1154-й полк сражался за этот город жизни не щадя. Из 600 человек, участвовавших в десанте на Варшавском шоссе, лишь 12 остались в живых.

Адресована широкому кругу читателей.

63.3(2)722.4
9(c)27

Т 0505030202—32
М154(03)—88 3.88

© Приокское книжное издательство, 1988.



ПРЕДИСЛОВИЕ

События, описываемые в документальной повести Юрия Туманова «Десант», происходят на завершающем этапе битвы за Москву, где в то время все было на пределе сил — и у противника, и у наших войск. Именно на этом этапе Красная Армия вывела из строя у гитлеровцев 16 дивизий. И как свидетельствуют немецкие источники, с января до конца марта 1942 года потери группы армий «Центр» в живой силе составили 333 тыс. человек.

Как известно, Ставка Верховного Главнокомандования директивой от 16 февраля 1942 года потребовала от главнокомандования Западного направления мобилизовать все силы Калининского и Западного фронтов для завершения разгрома группы армий «Центр» и полного уничтожения группировки противника, действовавшего в районе Ржев—Вязьма—Юхнов. Для выполнения этой директивы было решено сначала 22-й, 30-й и 39-й армиями Калининского фронта и 43-й, 49-й и 50-й армиями Западного фронта нанести поражение оленнинской и юхновской группировкам противника, а затем объединенными усилиями обоих фронтов завершить разгром его главной группировки. В результате последовавшего наступления противник на гжатском и юхновском направлении был отброшен на 80—100 километров, освобождены многие районы и вызволены из фашистской неволи многие тысячи, сотни тысяч советских граждан.

Но полного разгрома враг все же избежал. перебросив на этот участок 12 дивизий из Западной Европы, противник остановил наступление наших войск на запад.

Как показали события, перед войсками Западного направления были поставлены чрезмерно сложные задачи. Наступление Калининского фронта успеха не принесло. А на Западном 43-я, 49-я и 50-я армии в многодневных ожесточенных боях только в начале марта 1942 года смогли срезать юхновский выступ и освободить город Юхнов.

Для содействия войскам Западного фронта в район юхновской группировки советское командование решило десантировать западнее Юхнова 4-й воздушно-десантный корпус с частями усиления. С 16 по 24 февраля в тыл противника было выброшено 7373 парашютиста и 1525 тюков с боеприпасами, вооружением, продовольствием и разным имуществом.

Однако несмотря на самоотверженность полков и дивизий, непосредственно участвовавших в боях, соединиться с действующими в тылу врага 33-й армией генерала Ефремова, воздушно-десантным корпусом и кавалерийским корпусом генерала Белова войскам Западного фронта так и не удалось.

Действиям одного из стоящих здесь насмерть полков — 1154-го — и посвящена повесть «Десант».

На протяжении первого года Великой Отечественной войны Варшавское шоссе не раз бывало свидетелем того, как не очень большие подразделения и части, вступая в бой с противником, который многократно превосходил их по численности, останавливали продвижение врага, наносили ему немалый урон, а главное — помогали выполнению нашими войсками операций крупного масштаба. Так, осенью 1941 года парашютисты Западного фронта под командованием капитана Старчака на целую неделю задержали продвижение немецкой 4-й полевой армии. А было их всего 350 человек. Затем, и тоже неделю, сдерживали эту армию на ильинских рубежах подольские курсанты, закрыв тем самым фашистам дорогу на Москву по Варшавскому шоссе, дав время подтянуть к Москве резервы для обороны. Несравнимые по количеству, но стойкие и самоотверженные, они помогли отстоять столицу.

В этот же ряд можно поставить и десантников 1154-го стрелкового полка, которые в конце февраля 1942 года, оседлав Варшавское шоссе в тылу юхновской группировки войск, помогли успешным

действиям 50-й армии под Юхновом. Это стало одним из существенных звеньев последнего этапа московского контрнаступления.

В эти дни каждая дивизия, каждый полк и даже батальон или рота стоили очень многого. Артиллерийские орудия, как вспоминает командовавший тогда Западным фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, приходилось буквально выпрашивать у Верховного Главнокомандующего, даже если это и было 10—15 орудий ПТО. Снарядов получали мало, порою по 1—2 снаряда на орудие в сутки. И если удавалось на каком-либо участке сосредоточить достаточное количество стволов, то эти удачи всегда обеспечивали результативность операции.

В повести вполне убедительно показано, как и отдельное орудие, расчет которого сражается стойко и уверенно, придает необходимую прочность и жесткость обороне пехоты, даже при том, когда огромная плотность обрушенного на нее огня и многократен перевес сил.

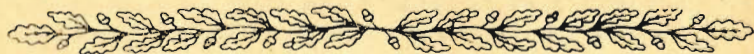
Та стойкость, с которой сражается в десанте 1154-й стрелковый полк, вообще характерна для первого года войны, т. к. обстановка часто не оставляла иного выхода, а личные качества воинов Красной Армии были достаточно высоки. Стойкость оставалась такой же и до конца войны, но соотношение сил тогда было уже совсем другим. Недаром Маршал Советского Союза Г. К. Жуков вспоминает: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

Эта битва не забывается никем из ее участников.

Документальная повесть «Десант» хорошо показывает нынешним поколениям, как беззаветно, до самопожертвования включительно сражались воины Красной Армии с сильным и опытным противником в московском контрнаступлении.

*В. ТОЛУБКО,
Главный Маршал артиллерии*





Командиру полка Георгию Осиповичу Кузнецову, комбату Котунову, убитым на Немане летом 1944 года, командирам огневых взводов Анатолию Попову и Григорию Каменю, разорванным бомбой вместе со своими орудийными расчетами зимой 1942 года в калужской деревне Проходы, и всем однополчанам, товарищам по 1154-му стрелковому полку 344-й дивизии посвящаю эту повесть.

А В Т О Р

Тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел навстречу своей смерти. Впрочем, это не совсем так: полки умирают редко. Даже если бойцов в них почти не остается. Командиру его — майору Минину, политрукам Ненашкину и Корсунскому, начальнику связи лейтенанту Дуклеру, комбату Белошапкину, красноармейцам Попову и Михалевичу, сержантам Нестерову и Фенешу, санитару Рыбаловой и многим, многим другим предстояло остаться на поле боя, в земле, самим стать землею, но имя свое — тысяча сто пятьдесят четвертый полк — оставить людям, навсегда связав его с опасным, героическим, беспощадным словом — десант.

Они пока еще об этом ничего не знали. Ни о гибели, ни о вечной посмертной славе десанта. Они просто шли безлесными снежными полями Мосальского района, оставляя позади другой районный центр будущей Калужской области — город Юхнов. Пробивались сквозь почти непроходимые, местами чуть не в рост человека снега.

Не каждому на войне выпадает счастье умереть за город, хотя бы и за малый. Чаще, намного чаще солдатская жизнь обрывается в бою за бугор, за опушку леса, за безымянный мост на безымянной дороге. Тысяча сто

пятьдесят четвертому полку повезло. Он должен был умереть за город Юхнов.

С трудом одолевая февральские сугробы, бездорожье, пургу, теряя десятки людей обмороженными, выбившимися из сил, надорвавшимися, шли вперед роты, таща на себе сотни пудов оружия, патронов, гранат, хлеба, всего, чем живет бой. Война лихих ударов, блеска полководческих озарений, прорывов, гениальных маневров — все это короткие всплески счастья, спрессованные потом в воспоминаниях, заслоняют они будни войны, ее повседневность: изнурительную переноску тяжестей, воловью солдатскую работу грузчиков.

Мертвые товарищи сотнями оставались лежать непогребенными в полях у деревень Чернево, Чебери, Лунево... Пурга заметала их. Разрывы немецких снарядов не оставляли в покое, доставали и там, в небытии, перекапывали заледеневшие трупы, кромсали, били, колоди на части. Живые уходили от них все дальше и дальше. Помнили, горевали, клялись отомстить, но все шире становилась разделяющая их белая равнина, по которой шли вперед, к бессмертию, те, кто пока еще был жив.

Если бы до войны сосчитать население этих двух районов, то не набралось бы и сорока тысяч человек. Теперь под Юхновом сгрудилось друг против друга чуть ли не полмиллиона людей — четыре армии. Три из них наши: пятидесятая, сорок девятая и сорок третья. А у гитлеровцев четвертая полевая.

Судьбу всей этой войсковой громады должен был в ближайшие дни решить поредевший, численностью теперь едва ли превышавший нормальный довоенный батальон тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Мог ли он сделать это?

А сколько раз на войне бывает возможно невозможное? На то и надеялись те, кто посылал его в бой, откуда не было возврата.

Два месяца безуспешных сражений под Юхновом



Командиру полка Георгию Осиповичу Кузнецову, комбату Котунову, убитым на Немае летом 1944 года, командирам огневых взводов Анатолию Попову и Григорию Каменюру, разорванным бомбой вместе со своими оружейными расчетами зимой 1942 года в калужской деревне Проходы, и всем однополчанам, товарищам по 1154-му стрелковому полку 344-й дивизии посвящаю эту повесть.

А В Т О Р

Тысяча сто пятьдесят четвертый полк шел навстречу своей смерти. Впрочем, это не совсем так: полки умирают редко. Даже если бойцов в них почти не остается. Командиру его — майору Минину, политрукам Ненашкину и Корсунскому, начальнику связи лейтенанту Дуклеру, комбату Белошапкину, красноармейцам Попову и Михалевичу, сержантам Нестерову и Фенешу, санинструктору Рыбаловой и многим, многим другим предстояло остаться на поле боя, в земле, самим стать землей. Но имя свое — тысяча сто пятьдесят четвертый полк — оставить людям, навсегда связав его с опасным, героическим, беспощадным словом — десант.

Они пока еще об этом ничего не знали. Ни о гибели, ни о вечной посмертной славе десанта. Они просто шли беслесными снежными полями Мосальского района, оставляя позади другой районный центр будущей Калужской области — город Юхнов. Пробивались сквозь почти непроходимые, местами чуть не в рост человека снега.

Не каждому на войне выпадает счастье умереть за город, хотя бы и за малый. Чаше, намного чаще солдатская жизнь обрывается в бою за бугор, за опушку леса, за безымянный мост на безымянной дороге. Тысяча сто

пятьдесят четвертому полку повезло. Он должен был умереть за город Юхнов.

С трудом одолевая февральские сугробы, бездорожье, пургу, теряя десятки людей обмороженными, выбившимися из сил, надорвавшимися, шли вперед роты, таща на себе сотни пудов оружия, патронов, гранат, хлеба, всего, чем живет бой. Война лихих ударов, блеска полководческих озарений, прорывов, гениальных маневров — все это короткие всплески счастья, спрессованные потом в воспоминаниях, заслоняют они будни войны, ее повседневность: изнурительную переноску тяжестей, воловьью солдатскую работу грузчиков.

Мертвые товарищи сотнями оставались лежать непогребенными в полях у деревень Чернево, Чебери, Лунново... Пурга заметала их. Разрывы немецких снарядов не оставляли в покое, доставали и там, в небытии, перекапывали заледеневшие трупы, кромсали, били, кололи на части. Живые уходили от них все дальше и дальше. Помнили, горевали, клялись отомстить, но все шире становилась разделяющая их белая равнина, по которой шли вперед, к бессмертию, те, кто пока еще был жив.

Если бы до войны сосчитать население этих двух районов, то не набралось бы и сорока тысяч человек. Теперь под Юхновом сгрудилось друг против друга чуть ли не полмиллиона людей — четыре армии. Три из них наши: пятидесятая, сорок девятая и сорок третья. А у гитлеровцев четвертая полевая.

Судьбу всей этой войсковой громады должен был в ближайшие дни решить поредевший, численностью теперь едва ли превышавший нормальный довоенный батальон тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Мог ли он сделать это?

А сколько раз на войне бывает возможно невозможное? На то и надеялись те, кто посылал его в бой, откуда не было возврата.

Два месяца безуспешных сражений под Юхновом

обескровили наши дивизии. В некоторых не соберешь и тысячи бойцов. Но все равно, что ни ночь — оживают белесые равнины вокруг города, встают в неверном свете немецких ракет прозрачные цепочки людей в белых балахонах и — ура!.. ур-ра!.. уррр-ра! — рвутся вперед.

Редко, очень редко удается им выбить гитлеровцев из какой-нибудь деревушки. Некому поддержать пехоту. Снарядов почти нет. Мин тоже. Первая военная зима — во всем нехватка. Молчит дивизионная артиллерия. Молчит корпусная. Счастье еще, если кое-когда могут стрелять полковые батареи.

И ложатся цепи. И смолкает «ура». Только стоны раненых перекатываются из конца в конец бескрайних полей. Будто стонет сама земля русская, по которой всю ночь молотит немецкая артиллерия.

Утром, вернувшись на исходные позиции, мы подсчитываем убитых и раненых. Немцы — израсходованные снаряды. Конечно, и у них не без потерь, но не сравнить их с нашими. А вот боеприпасы! Они едва успевают пополнить их за день, как снова русские атаки заставляют выбрасывать в ночную беспросветную мглу тонну за тонной, эшелон за эшелон. Беспорывно режут орудийные глотки. Не гаснут кроваво-красные всполохи над немецкими батареями, за спинами которых черными зубчатыми полосами хмуро щерятся наши безмолвные леса. Бьют, бьют, бьют немецкие дивизионы и полки. Туда, в стылую белесую тьму. Там опять ползут, опять лезут неистребимые белые балахоны.

И ужасаются немецкие штабные интенданты: как ни старайся по единственной дороге, связывающей Юхнов с тылом, — по Варшавскому шоссе — не подвезешь столько, сколько нужно для безумной ночной пальбы. Приходится залезать в неприкосновенные запасы в самом Юхнове. А на сколько их хватит, этих неприкосновенных?

«Нет снарядов! Дайте снаряды! Нечем держать про-

тивника!» — несутся хриплые вопли по немецким штабным проводам.

Красноармейцы тысяча сто пятьдесят четвертого полка! Ни пяди земли не освободили вы. Но как много сделали для Победы! Снаряды, выпущенные в вас под Юхновом, не дошли до Москвы, вы закрыли ее собою. Вечная вам слава!

Два хмурых пожилых человека стоят друг против друга в темноте полуразрушенной бревенчатой избы. Оба молчат. Старые товарищи, которые, впрочем, по пальцам могут пересчитать свои встречи за последние десять лет — так бросала их с места на место военная судьба. Сейчас один уйдет. Должен уйти. Но они медлят. Очень трудно сейчас расстаться.

Желтый шар неяркого керосинового света будто подвешен в черной тьме. В него врезается край некрашеного деревенского стола с расстеленной на нем топографической картой и ящиком полевого телефона. Больше ничего не освещает лампа. Разве только отраженным светом поблескивают в темноте латунные пуговицы шинелей.

За тонкой стенкой чуть слышно прошелестели шаги. Командарм поворачивает голову: это адъютант напоминает, что время на исходе. Пора. Давно пора выезжать, но как оставить сейчас старого товарища. И не одного, а с тяжким грузом, который сам вот только что взвалил на его плечи.

Всклинула, резко отворившись, примороженная дверь, дуло холодом по ногам, шевельнулся свесившийся со стола лист карты, мелькнули в черноте еще более темные тени.

— Танки горят, товарищ Болдин! Танки горят!..

Яростный шепот адъютанта оборвал крик вбежавшего. Еще раз бухнула тяжелая дверь. И снова тишина,



Бойцы и командиры противотанковой батареи 1154-го стрелкового полка 344-й дивизии. 1943 г. Участники десанта на Варшавское шоссе: капитан, командир батареи Ю. В. Туманов (второй слева в первом ряду), старший сержант Семен Нестеров (четвертый слева в первом ряду), старшина, командир орудия Михаил Епишин (первый слева во втором ряду).

напряженная, неестественная, странная в бушующей во круг и всеми ощущаемой круговерти.

— Они не вернуться? — то ли спросил, то ли на судьбу посетовал один из невидимых в темноте людей.

— Они выручат армию, Михаил, — в ту же секунду отозвался из тьмы голос от противоположной стены. И словно припечатал: — Всю. Армию! И город Юхнов.

Что ж, они военные люди, водили в гражданскую роты в атаки, потом кочевали по гарнизонам. Им ли привыкать к армейской необходимости! Четким, неторопливым шагом вышел к столу тот, кого называли Михаилом. Еще раз взглянул на карту. Врезался в желтый круг, склонился к столу. Рубиновым светом вспыхнули слева

в петлице четыре шпалы. Правое плечо в отброшенной головной тени поднялось черным крылом.

— Тысяча сто пятьдесят четвертый... Это мой лучший полк, — не удержался он.

— Там и должен быть лучший! — мгновенно отозвался голос из тьмы, напрочь отменяя сожаления. — Только упорный, только решительный, только цепкий, как черт. Иначе все ни к чему.

И снова тяжелое молчание. И уже не шелестящие, звонкие, четкие шаги адъютанта за стеною. Времени нет. Времени нет!

Полковник Глушков все еще смотрит на карту, где красный карандаш командарма только что врезался стрелой в оборону противника, ушел далеко вглубь и перерубил Варшавское шоссе. И думает, думает... Если бы у него самого вот так в тылу была перехвачена единственная дорога, по которой идет пополнение боеприпасами, людьми, техникой, единственная дорога в непроходимых снегах, что бы он делал?

Полковнику Глушкову никогда не узнать, что многие годы спустя немецкий генерал — начальник штаба армии, которая здесь вот ближе всех прорвалась к Москве, напишет в книге «Роковые решения»: «Если бы русским удалось перерезать единственную дорогу, питавшую фронт под Юхновом, с четвертой полевой армией было бы покончено». Никогда он об этом не узнает, полковник Глушков, но скоро, очень скоро всю немецкую четвертую полевую армию встряхнет удар комдива Глушкова.

— Немцы бросят сюда все, — хмуро одобряет он удар красной стрелы.

— Обязательно! — напористо подтверждает за его спиной генерал. — Обязательно. Если ты прорвешься. Никому еще не удалось. Ты должен.

Он тоже подходит к карте и в неверном свете лампы кажется еще огромнее и грузнее чем есть. Воротник на-

детого под кителем свитера скрыл генеральские звезды на петлицах. Тени вдвое увеличили короткие усы. Скользнул взглядом по карте. Нечего смотреть. Юхнов... Варшавка... Он на память знает каждую сотню человек на своем чуть ли не стокилометровом участке фронта. Ничем он больше не может усилить группу Глушкова. Ничего не может противопоставить авиации немцев, которая через час после прорыва двадцать третьего февраля уже ударит по его десанту. Даже снарядов добавить не может, даже четырехорудийной батареей. Все отдал. Все, что мог.

Но тысяча сто пятьдесят четвертый полк, лучший полк Глушкова, станет немцам костью в горле. А смертельная угроза заставит немцев снять танки из-под Юхнова, бросить их сюда, передвинуть километров на двадцать — тридцать от города артиллерийские полки, вдвое, втрое ослабить огонь по наступающим красноармейцам. И это уже в первый день после прорыва десанта. А если и во второй не собьют его с шоссе... Тогда армия решит наконец задачу, за которую уже погибли тысячи людей.

Тотчас вспомнилось: вчера убитых по армии было четыреста пятьдесят шесть, позавчера — триста восемьдесят восемь.

Что ж, он давно знает: стрелы, прочерченные карандашом по карте, на земле пишутся кровью. Но тысяча сто пятьдесят четвертый полк остановит лавину потерь в армии, и она ворвется в Юхнов.

— Приказ получишь через три часа.

Опять тяжело бухает примороженная дверь. Холодный пар клубами врывается в комнату, где теперь нет никого, кроме командира дивизии.

— Начальника штаба и начальника оперативного отдела ко мне, — негромко говорит Глушков куда-то в темноту. И темнота отзывается человеческим голосом: «Озеро... Озеро! Я — Медведь, я — Медведь! Десятого и шестого к девятому».

В желтом шаре света появились майор и капитан. Глянули из-за спины комдива на генеральские стрелы, перерезавшие Варшавку, переглянулись, майор только развел руками. Тяжелый и хмурый взгляд полковника, поднявшего голову от карты, остановил их.

— Вот что, академики, — твердо и угрюмо сказал комдив, карандашом обедев деревни Вязичня, Красная Гора, Проходы и Людково, — готовьте приказ. Мы через два дня должны прорвать оборону немцев, под шквальным огнем из Алферьевской, Медвенки, с высот двести тридцать семь и семь и двести сорок восемь и шесть живыми довести до Варшавки батальоны по открытой равнине через непроходимые снега.

И уже объяснив все, с непривычной и неожиданной для этого сурового человека болью в голосе сказал:

— Памятник после войны должны поставить в Юхнове тысяча сто пятьдесят четвертому.

Старший политрук Чичибабин, сцепив за спиной руки, молча считает проходящих мимо него красноармейцев. Шестьсот сорок пять человек сумел он протолкнуть за ночь до деревни Козловка. Через час рассветет. И больше ни одного человека не жди. Днем дороги нет. Ни конному, ни пешему: самолеты с желтыми крыльями живыми не пропустят. Почти никому за эту зиму не удалось засветло проскочить хотя бы пять-шесть километров от одной деревни до другой. Бьют бомбами, режут с неба пулеметами, лупят снарядами. Смелость, дерзость и лихость всюду кончаются одинаково: черный снег, испятнавший дорогу, трупы, торжествующий рев уходящих ввысь самолетов. Чистое голубое небо, ясные солнечные дни, тихие белые дали — все это обман. Попробуй двинуться, поддавшись иллюзии спокойствия, не пройдет и получаса, как обрушится на тебя небо, в котором нет нашей авиации, а земле нечем ответить, нечем

ударить вверх по ревающим и сверкающим огнем самолетам.

Эх, если бы был с ним его курсантский батальон из училища связи, передергивает плечами Чичибабин, парни, которым ничего не надо говорить. Бывало, только слышишь, как они переключаются: «Сергея, пулеметы вперед!». И пулеметы уже там. «Колька, смени головную заставу». И бегом пронесится вперед смена уставшим, протаптывавшим впереди дорогу в снегу. Да он бы с песней прошел через сумасшедшие калужские снега. Да он бы, Иван Чичибабин, уже давно ворвался бы с ними на окраины Юхнова. Он с одним батальоном взял бы город.

А здесь... Ну к чему, спрашивается, вся твоя энергия, которой и ты, и начальники твои всегда гордились, непреклонная воля, сила? Тебе, комиссару полка, не удалось справиться с пустяковой задачей. Шестсот сорок пять человек. Всего шестьсот сорок пять привел ты к Козловке вместо двух батальонов. Остальные растянулись, застряли. И — он реалист — двое суток, не меньше надо, чтобы их собрать и подтянуть сюда. А завтра, уже завтра, по приказу комдива полковника Глушкова тысяча сто пятьдесят четвертый полк, весь, целиком, должен сосредоточиться в деревне Красная Гора. После завтра в Красную Гору войдет вторая гвардейская танковая бригада. Полк должен тут же погрузиться на броню и десантом на танках прорваться в тыл к немцам и оседлать там Варшавку.

Бригада придет, а полка в назначенное время не будет. И значит, невозможно станет выполнить боевую задачу. Чичибабин даже зажмурился, представив, что произойдет, когда они станут докладывать, как не обеспечили... Добро бы еще страшные бомбежки, десятки немецких самолетов, ну, на худой конец бешеное огневое сопротивление противника. Ничуть не бывало. Снег. Просто снег. Ничего, кроме снега. И дороги стали непроходимыми.

Для немцев они тоже непроходимы, но какое ему сегодня до немцев дело! Ему, комиссару Чичибабину, который всегда мог запустить на полный ход любое самое трудное дело. Как бы презирал, как смеялся бы он над недотепами, которые не смогли бы организовать марш, обыкновенный марш. С ним такое никогда бы не могло приключиться. Два дня назад он еще думал так, был уверен и удачлив.

В тридцати километрах от Козловки в безлюдной черноте ночи стоят завязшие в растоптанном снегу две небольшие пушки. Те самые, что дольше всех тянулись за пехотой. Взвод лейтенанта Железнякова.

Четыре дня назад, уходя из-под страшной деревни Чеберяи, эти двадцать человек думали, что уже никогда им не придется так трудно. Сейчас им кажется, что под Чеберяями был отдых.

Сидят прямо в снегу, привалившись к орудиям, командеры и бойцы, и похоже, что снег, тихо шипя, расползается под каждым, как под раскаленным утюгом: от всех валит пар, хоть и мороз стоит за тридцать градусов. Вечером, когда выступали на марш, у всех, на кого ни погляди, белым мохнатым инеем облепило подшлемники.

— А что, лейтенант, в Африке наверняка такой жары нет, как думаете? — первым отдышавшись, начинает балагурить разведчик Нестеров.

Но лейтенанту не до шуток. Пехота ушла вперед, а дорог в поле протоптано не то шесть, не то восемь. На запад и на восток, на север и на юг, они пересекаются, путаются, вьются. Взвод, правда, еще ни разу не сбился с дороги: успевали выставлять маяками на перекрестках иногда даже по десять человек. Но то было в первые дни. Сегодня нельзя оторвать от орудий даже одного: иначе не вытащить из снега то и дело вязнущие орудия.

Первый раз за время марша пехота ушла, растворилась в ночи, а Железняков не послал с нею никого из артиллеристов.

Сквозь тревожное раздумье пробивается голос Нестерова.

— Я вон в Буркацкого горсть снега кинул, так он даже не долетел, расплавился. Слышали, как он верещал: «Что водой плескаешься?» Не понял, что сам он, как огонь, снег растопляет. Где ж так нагреешься, как не в Африке.

Ни на ком теперь не увидишь подшлемника. Ушанки давно развязаны, сдвинуты у кого набок, у кого на затылок. Но сидеть им в снегу давать нельзя. Простынут. Подниматься будет трудно. Заговорили уже, значит почти отдышались. И, главное, минут через десять пехоту будет не догнать.

— Нестеров! — зовет лейтенант, не отзываясь на шутку. — Возьмите моего коня, догоните пехоту и до черекрестка идите со стрелками.

Разведчик вскакивает. Но и тут не упускает случая побалагурить:

— Да что это все я, да я, вон Шкидского послали бы...

Шкидский самый неповоротливый и невезучий из бойцов взвода.

Нестеров уже в седле, не давая лейтенанту вспыхнуть и отчитать его, шпорит лошадь. Все вокруг хохочут. А Шкидский несмотря на неповоротливость успевает залепить ему в спину здоровенным снежком. Так и исчезает Нестеров в темноте с огромным, как мишень, белым пятном на спине.

От второго орудия подбегают двое: «Что вы тут?» Узнав в чем дело, посмеиваясь, поворачивают обратно. «Ну, Нестеров, всюду встрянет, звонок окаянный».

Взводный командир на невидимых весах независимо, кажется, от себя отмеряет каждый миг и состояние сво-

его небольшого отряда. Пять минут назад его одолевала тревога: скрылась пехота, выбились из сил бойцы... Теперь в другую сторону качнулись весы — ребята смеются, подначивают друг друга, не шагом, бегом подскочили бойцы из второго расчета. Раз так, марш продолжается.

— Командиры орудий, ко мне!

Но опять вздрагивают чаши весов. Еле слышный шелест и скрип доносятся справа, оттуда, где ничего нет и не может быть, с бездорожья, с пустой снежной целины. В той стороне не так уж и далеко линия фронта, передовая. Туда тоже ответвлялись дороги. Но в эту ночь таких поворотов не встречалось.

Шелест все явственней сзади и справа, с северо-востока. Немцы? Едва ли, откуда им взяться. Наши? Тоже откуда им взяться.

— Батарея к бою!

Запыхавшийся командир второго орудия сержант Поляков, не добежав до командира взвода, вихрем умчался обратно. Сержант Попов уже разворачивает первое.

«Надо же, как понесся Поляков!» — отмечает командир и радуется: есть еще силы у людей, есть.

Он до конца не верит тому, что там, справа, может быть противник. Но все же. Вот и вместо взвода скомандовал: «батарея». Чтобы враг, если услышит, думал, что их тут больше. Конечно, для этого у противника кто-то должен знать русский язык. Едва ли так может быть. И вообще, все это хитрости из книжек о гражданской войне.

Железняков кричит во тьму, в неизвестность, в накапывающая скрип шагов многих людей:

— Стой! Кто идет?!

Вчера еще начальник штаба артиллерии дивизии майор Савченко, обходивший его посты во время дневного привала, поставив Железнякова по стойке «смирно», четверть часа долбал его за такой же самый окрик часового.

— Учтем, товарищ майор! — лихо отозвался Железняков.

А Савченко опять грозно вытаращил глаза.

— Это кого «учтем»? Меня? Вы? Учитывать? Это на «гражданке», в профсоюзе где-нибудь скажете: «Учтем», Иван Иваныч, ваши заслуги и выберем куда-нибудь там... — Запнувшись, он минуту подбирал, куда бы это выбрать несчастного Иван Иваныча, куда бы это его засунуть, гражданского недотепу, но так и не придумав, лишь тоном выражая величайшее презрение, закончил: — Куда-нибудь там в президиум. А в армии никаких «учтем». «Есть», «разрешите выполнять»... И через левое плечо кругом. И бегом!

Поостыв, начальник штаба коротко и четко объяснил взводному, что когда часовой чуть ли не за километр орет «стой, кто идет!», то это хоть и по уставу, но дурь несусветная. Конечно, когда в мирное время к тебе идет разводящий или караульный начальник, то можно разгрызывать эти спектакли. Ты ему — «кто идет?». Он тебе — «разводящий». Ты — «один ко мне, остальные на месте». Он — оставляет на месте зевающих спросонок бойцов, кому вышло время становиться на пост, и подходит. Ты наверняка знаешь, что к тебе топает, грохоча каблуками, смена, а не ползет диверсант. Он наверняка знает, что ты орешь во всю глотку лишь для того, чтобы показать, что не спишь, что службу несешь исправно. Театр. На войне же противник будет появляться чаще, чем разводящий, чаще, чаще. И часовой не за километр должен орать свое «стой!», тем самым обнаруживая себя и позволяя врагу издали залечь и огнем уничтожить пост. Часовой должен крикнуть «стой», когда для того, кому он крикнет, выхода нет — или стой, или пуля, смерть. «Стой» должно останавливать, а не предупреждать. «Стой» должно быть внезапным, словно удар из-за угла. Часовой должен быть уверен, что задержанный его криком, будь он хоть с пулеметом, хоть с гранатой,

будет стоять и не успеет выстрелить, будет убит раньше, чем поднимет оружие. Тогда только и можно начинать выяснять «кто идет».

Конечно, Савченко прав. Во вчерашней ситуации. А сейчас? Сколько их там движется во тьме? Двое, взвод, рота... Сколько? Если подойдут вплотную, то не остановишь, задавят. Промедлишь — окружают, зайдут в тыл, ударят со всех сторон.

— Кто идет? — во всю силу кричит Железняков в снежную тьму. И своим: — Батарея... картечью!..

В поле все стихло. Слышно стало даже, как шуршит снег по насту, перегоняемый ветерком. А на дороге, ставшей вдруг огневой позицией, наоборот, гулкий и глухой топот. Почему-то все до одного бегают вокруг пушек, скачут, прыгают. «В салочки, что ли, играют, в догонялки?» — злится взводный, но тут же понимает: расчеты вытаптывают в снегу круг для разворота орудий.

— Картечи нет, не найдем никак... — виновато шепчет ему вынырнувший из мельтешащей на огневой суматохе сержант Попов.

— Зарядить осколочными! Живо! — шилит в ответ командир, чтобы не услышали те, кто сейчас для него противник.

Хоть бы у Полякова нашли картечь. Приказывал ведь держать в оружейном передке всегда один лоток



Капитан Георгий Осипович Кузнецов, в 1943—1944 гг. командир 1154-го стрелкового полка. Убит на Немане в 1944 г.

картечи. Картечь, в ней сейчас спасение. Выстрел, и чуть ли не от самого ствола врагу в лицо сноп из сотен свинцовых шариков. Удар похлеще кинжального огня счетверенного пулемета.

— Кто идет? Считаю до трех. По счету «три» открываю огонь. Прраз!..

— Витька, ты, что ли? — доносится с поля знакомый голос. — Железняков, ты?

— Гришка, — обмякает Железняков, — Иванец.

И вот уже артиллеристы утонули, растворились в заполонившей дорогу пехоте. На ней уже не два одиноких черных пятна орудийных расчетов. Широценная темная лента надвое разрежала круг синеватого снега, накрытого черным куполом неба. Сто человек, целая сотня пехотинцев обнимается с пушкарями, хрустит сухарями, топает, шумит.

Три дня назад выбившиеся из сил солдаты взвода, который вел лейтенант Байдала, отстали от полковой колонны. Всего на час остановил он взвод. Один только час дал полежать на снегу своим уже едва переставлявшим ноги солдатам. И то не всем. Самым сильным пришлось возвращаться, подымать упавших на марше, подтаскивать их груз. Сам Байдала, проклиная себя и чертов снег, беспрерывно шагал взад и вперед над лежащими бойцами, уговаривал, заставлял шевелиться замерзающих и слабых. Через час двинулся за полковой колонной. Но ее уже нигде не было. Растворилась, исчезла в непроглядной ночной мгле. Не известно кем промятые тропы и дороги хорюродили солдат Байдалы по ночным полям то в одну сторону, то в другую. Вчера они наткнулись на взвод лейтенанта Иванца, тоже разыскивающего полк. Вместе в первые дни войны они были досрочно выпущены лейтенантами из Хабаровского пехотного училища. Вместе попали в тысяча сто пятьдесят четвертый полк. И вот после первых боев оба потерялись, да не одни, а вместе со своими взводами.

Как им повезло, радуются пехотинцы, наткнувшиеся на артиллеристов, знающих, где полковая колонна.

А артиллеристы, покровительственно похлопывая их, знают, что повезло-то им: теперь в случае чего есть кому везти пушки.

За рекою вдоль холма длинный ряд крытых соломою, заваленных снегом по макушку, похожих теперь на стога изб. Черным-черны они, как и сараи рядом с ними, и другие деревенские постройки. Черным-черны потому, что позади их горят, не гаснут в небе, заливают землю лунным светом немецкие осветительные ракеты. Длинные черные тени протянулись от каждой постройки до спуска к реке, медленно, как часовые стрелки, ползут по зеленоватому снегу. Врезана в черное небо близкая линия горизонта, извивается по вершинам холмов прямо за деревней, тоже вытянувшейся одной улицей. До противника километра два, не больше.

Молча стоят над противоположным обрывистым берегом Перекши орудийные расчеты железняковского взвода. Молча глядят за реку. Дошли. Добрались. Доволокли свои пушки до края земли. Дальше дороги нет. За деревней только окопы, нейтральная полоса, а за ней фрицем опоганенная и теперь будто бы и чужая земля, хоть и своя она от века. Раскинулась перед артиллеристами за рекою деревня Красная Гора. Три ночи ломился сюда сквозь непроходимые снега огневой взвод. Завтра из этой деревни, зацепившись за танки, уйдет он в неизвестность, окунется в огонь, должен пройти через него, сквозь немецкий передний край, чтобы далеко за ним зажечь на Варшавском шоссе, у немцев в тылу, новое пламя, еще горячее, где и немцу не пройти, да и самим вряд ли выбраться. Вот и молчат солдаты, остывая на ветру от дороги, думая о предстоящем.

О предстоящем ли? Невозможно воевать, если все

время помнить о крови, о смерти, о том, что живым можно из боя и не выйти. Странно и прекрасно устроен человек — о самом главном и страшном, что может случиться с ним завтра, едва ли думает даже один из десяти. Остальные заняты тем, что судьба и дело вынесли к ним сегодня, сейчас, сию минуту. Железняков, сто раз выдавший танки на парадах и в кино, клянет себя за то, что не обратил внимания на главное. А главное сегодня в танке для взводного командира не пушка, не броня, не мотор, главное — крюк. К нему надо будет цеплять орудия, но никто из огневиков его не видал, да и вообще не знает, есть ли он у танка.

Сержанты Попов с Поляковым и старшина Епишин вполголоса переговариваются, прикидывают, где в деревне можно отыскать веревки, чем крепить орудия к танкам. Наводчик Михалевич, как выяснилось в походах, самый хозяйственный человек во взводе, подталкивает то одного, то другого бойца — сам он уже все продумал. Этому надо будет сразу наколоть дров и затопить печь, другому — найти где-нибудь фанеру, чтоб окна забить: наверняка в деревенских домах не осталось ни одного целого окна, наверняка все стекла побиты. Третьему поручается еще что-то. На привале хорошо будет спать — в тепле и не на голодный желудок — только тот, кто шевелил мозгами заранее.

— Разрешите четверым наlepке в деревню сбегать, — просит Михалевич взводного.

Тот, с трудом оторвавшись от размышлений о танковом крюке, сначала не понимает, потом машет рукой:

— Давай, давай! И сам, Михалевич, с ними двигай, пока пехота все не расхватала.

Какие уж тут размышления о смерти, когда нужно успеть расположить взвод на последний привал в безопасном месте и тепле.

— Вот где красота-то, лейтенант, — тронул его за рукав шинели старшина Епишин, показывая, как немец-

кие трассирующие пули фейерверком рассыпаются над деревенскими крышами.

— Да, карнавал что надо, — мельком глянув на разноцветные искры, хмуро усмехнулся в темноте лейтенант.

— Да я не про то, — хмыкнул Епишин. — Видите, фрицу через бугор до каких домов не достать?

И Железняков, мигом оценив догадку старшины, отправляет его вслед за группой Михалевича. Чтобы эти дома на левой окраине деревни достались артиллеристам, только эти, не другие. Что проверено немецким огнем, то проверено.

— На колеса! — командует Железняков остальным.

И вцепившись в лямки, в станины, налегая на щиты, двинулись артиллеристы, среди расступающейся пехоты, под крутой уклон к реке, сдерживая, сдерживая, сдерживая и упирающихся коней, и орудия, чтобы не сорвались, не покатались вниз, не засели навечно в сугробы. А потом, пройдя по льду, они с новой силой тянут лямки. Только теперь еще труднее — в гору, в гору, в гору. Еле ползет пушка. Не зря зовется деревня Красной Горой.

— А ну, пехота, к орудью! — рыкнул, оскользаясь, сержант Поляков. — К орудью! Кому сказано!

И смотри-ка, бегут. И не один-два, десятки солдат кинулись на помощь.

— Ох, братки, — утирается рукавом Поляков на вершине холма и жмет руки пехотинцам. — С меня поллитра, как рассветет — заглядывайте.

«Заглянем, зайдем, на Варшавке жди...» — гомонят стрелки. И тут же исчезают, как ветром сдутые. Разом пустеет край деревни. Не ветер — мины гонят всех в укрытие. Пулеметы и здесь не достают, а мины — вот они, плещут пламенем, рвутся меж домов и на улице.

— В галоп! В галоп! — хлещет плетью по орудийным упряжкам Железняков, вырываясь на Матросе в голову колонны. — За мной! Вперед!

Артиллеристам от орудий не уйти. Уйти из-под огня можно только вместе с орудиями. И вот уже мины рвутся далеко позади, а навстречу взводу выскакивают квартирьеры во главе с Епишиным и Михалевичем.

— Орудия в укрытие!

Есть укрытия, есть! Молодцы квартирьеры, все размечено. И кони мигом заведены в кирпичный сарай, и пушки за каменной стеной, и люди в избах.

Но подобрались и сюда минные разрывы. И сжимаются бойцы: неуютно за ненадежными бревенчатыми стенами. Хотя почему ж ненадежными? И не каждая мина в дом. И не в один удар разнесет. Всё они видели уже, солдаты тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

— Ой! Ой! Ох... руку... руку одирвало! — перекрывает железный скрежет мин человеческий голос с улицы.

И встает в проеме двери, в свете разгорающегося в печи огня человек в залитом алой кровью белом маскхалате, качающий на весу обрубленную руку, гнущийся от боли.

— Руку, братцы... руку одирвало! — оглядывает он всех. А в глазах и боль, и надежда.

К нему бросаются сразу трое. Рраз — и располосвали рукав. Два — перетянули руку жгутом, замотали бинтами. Не первый день в боях, умеют, все уже умеют артиллеристы. Не истечет парень кровью, будет жить. А боль, что боль? Терпи солдат, терпи, когда-то это кончится. Тебе повезло! Еще неизвестно, что будет завтра с теми, кто тебя сейчас перевязывал, кто сочувствовал. Считай, что выиграл ты жизнь. Только под шальную не попади, когда будешь топтать в санроту.

Под эти присказки смолкает раненый. Гнется от боли, корчится, но не плачет. К печке жметя, к огню. И его пропускают, подталкивают даже на лучшее место: как-никак здесь сейчас ему хуже всех.

Минометный огонь обрывается так же внезапно, как и начался. Опять по улице течет войсковая колонна, скри-

пит под ногами снег, звякает и бренчит неподогнанная амуниция. Орут проходящие роты, видя пламенеющие щели в неплотно забитых окнах:

— Свет! Маскируй! Гаси!

Но напирают задние, гонят пехотинцев мимо: все топорятся расположиться скорее на ночевку, отогреться. И, недокричав, пробегают мимо, мимо, исчезают во тьме, растворяются в глубине деревенской улицы ревнители светомаскировки. А кому-то, вломившемуся все-таки в дом, вылететь из него пришлось еще быстрее, чем он туда вошел. Под разъяснения вслед. И очень популярные, в которых все ясно — и где немцы, и где мы, куда смотрят окна и куда надо поспешить ретивому пехотинцу.

Связной, которого Железняков направлял в штаб полка, прибежал с приказом: взводному немедленно явиться к начальнику штаба.

Собираясь, Железняков с завистью поглядывает на то, как обживают артиллеристы дом — забивают досками щели, волокут дрова, кидают их в пылающую печь. Мусор, щепки, обломки — все летит в нее, все полыхает костром. Солдаты, дорвавшиеся до тепла, расстегнув шинели, впитывают, всасывают его, захлебываются им. Каждой жилкой, всеми нахолодавшими за ночь телами. А Михалевич уже пристраивает в огонь чугуны. Очень не хочется Железнякову отсюда вылезать в холодную темь, идти в промерзшую, наверно, стылую штабную избу. Но затянута уже на нем все ремни, шаг к порогу, другой, и бегом.

К штабному дому он подошел, когда возле него осадила конная повозка и с нее соскочил командир полка майор Минин. Идя за быстро шагающим майором, лейтенант видел, как тот раздраженно обрывал подходивших с докладами командиров, даже дослушать не хотел о том, как и почему кто-то не успел, не смог, не одолел.

— К пяти утра доложить о выполнении! — один у

него был ответ на все слова. — А нет — взыщу по всей строгости военного времени!

И ныряя через совсем теперь не закрывавшуюся дверь прямо в промозглую ночную стылость, уносили штабные командиры на озабоченных лицах уже слышный им шелест приговора военного трибунала, если что, если к пяти... А что там осталось до пяти? Четверть ночи или еще меньше.

«Успеют, — подумал Железняков, глядя им вслед. — К пяти утра все будет на месте». «В бога мать!» — сказал каждому вслед командир. А это сегодня очень много значит. Ну и трибунал, конечно, который в случае чего завтра — тоже не последнее дело. Нет, к пяти утра из кожи вон вылезут, а сделают. Он уже знал, что в восемь утра из Вязични в Красную Гору войдет вторая гвардейская танковая бригада и полк, погрузившись на танки, пойдет на прорыв.

— Не вижу артиллеристов! В чем дело? — резко повернулся Минин к начальнику штаба.

Тот негромко ответил что-то. И опять раскатилось привычное мининское: «В бога мать!»

— Мне не нужны командиры взводов! Мне нужны командиры батарей! — отчеканил Минин.

И услышав это, Железняков, привыкший за время боев, что он всем и повсюду нужен, что его обязательно куда-то зовут и вызывают, поразился, обиделся даже совсем не по-военному. Как это так, в нем не нуждаются!

«Ну и пусть, — самолюбиво подумал он, — пусть ждет комбатов, дождетя, как же! Суток через четверо. Единственный артиллерийский взвод пробился вслед за пехотой, даже раньше многих стрелков — его взвод. И он не нужен? Ну и черт с ними со всеми». Лейтенант повернулся, чтобы уйти, но на улице опять послышался скрип тормозящих саней, властные голоса, и в штаб взяли несколько человек в белых полушубках, ладно обтянутых аккуратными маскхалатами.

— Смирно! — прокатилась по избе зычная команда, и майор Минин, прохая сапогами, вышел навстречу приедем, вскинув руку к ушанке. — Товарищ полковник...

— Обращайтесь к генералу, — полуобернувшись к не знакомому никому здесь высокому человеку, одетому так же, как все, сказал полковник.

«Ну, от такой встречи ваньке взводному лучше держаться подальше», — сразу решил Железняков. Где большое начальство, там большие хлопоты, и ты, попавшись на глаза, пойдешь со своими бойцами расчищать дорогу, вытаскивать из снега автомашину, подтаскивать снаряды — много может быть неотложных заданий, а у тебя самого дел невпроворот. И как только послышалось: «Вольно!» — он заспешил к выходу.

Однако сразу уйти не пришлось. Обходя печь, лейтенант увидел прислоненные к ней шесть автоматов, принадлежавшие, видимо, только что приехавшим представителям какого-то высокого штаба. И ноги его словно вросли в пол. Шага он больше не мог сделать. Он и не видел никогда столько автоматов за раз. Во всем тысяча сто пятьдесят четвертом полку их до сих пор всего-то было три штуки. Один у командира роты автоматчиков, а два других — у ординарцев командира и комиссара полка. На них с завистью засматривался каждый. Еще бы! Семьдесят два патрона в круглой коробке диска! Возможность одному разом отбиться от десятка нападающих. Завтра ох как нужно это будет в немецком тылу. Автоматчики полка так и не дождались нового оружия, пойдут в десант с обычными винтовками.

«Им в десант не идти, — билась в лейтенантской голове жаркая мысль. — Они и на передовой гости. К чему им автоматы?»

Он машинально потрогал свой наган. Каждую шерстинку он на нем знал, каждую отметину, хоть и немало их накопилось с года выпуска тысяча восемьсот девяносто первого, за три или четыре войны, на которых тот



Политрук Николай Сергеевич Куркин, участник десанта, прикрыл пулеметным огнем отход последней группы десантников. Провоевал всю войну до победного конца. Умер после войны.

мог побывать. В барабане восемь патронов. Двенадцать запасных в кармане. Пока перезарядишь, тебя самого шесть раз припечатывают.

Зорко оглядевшись, он не увидел нигде никого из тех, кто сопровождал приезжих, да и из своего полка тоже. Как нарочно выдался такой миг, что подталкивал, подталкивал — не бойся, протяни руку. И лейтенант не смог остановиться, быстро и незаметно схватив крайний автомат, он упрятал его под полу своей маскировочной куртки. Несколько секунд постоял с бешено колотящимся сердцем, унимая волнение, еще раз огляделся,

но никто его не окликнул, никто не закричал.

«Не грех, у представителя не грех взять. Нам во взводе автомат нужнее. Он на Варшавке будет стрелять, убивать будет врага. Здесь его таскают просто так, как украшение», — успокаивал себя Железняков, осторожно пробираясь к выходу.

Во взводе командеры орудий сразу огорошили его вестью, что обыскали всю деревню и почти ничего не нашли, что пригодилось бы для крепления орудия к танкам. Какие-то жалкие веревки, обрывки ремней, два чиресседельника да супонь лежали на полу перед печкой. Даже Михалевич, самый ушлый солдат его взвода, и тот держал в руках всего лишь три длинных брезентовых

ремня явно армейского происхождения. Но и эта добыча, уворованная у какого-то лопоухого каптера, не спасала положения.

— Что будем делать? — задал ненужный вопрос командир взвода.

И холодно ему стало в жарко натопленной избе. До рассвета оставались считанные часы, а надежды найти где-нибудь крепеж не было.

— Может, в конном строю? — неуверенно, сам стыдясь глупости своих слов, предложил кто-то.

Где уж на конях за танками, да под огнем, когда и не целиной, а по дороге еле дотащились.

— Может, в соседних деревнях пошарить?

Лейтенант даже не повернул головы к говорившему. Он, сосредоточенно сощурившись, ловил неподдающуюся мысль, которую только что и вроде бы ясно подсказал кто-то.

— В конном строю... В конном строю... — пробормотал он и вдруг, вскинув голову, заорал: — А ну-ка всех ездовых ко мне! Бегом!

На него смотрели с сожалением, недоумевая. Все понимали, что не вытянут кони. И только от отчаянья решил лейтенант советоваться с коноводами.

Ездовые набились в избу, внеся в нее запах конского пота, навоза и еще чего-то крестьянского, мирного, далекого от всего, что тут затевалось и грозило всем. И огневики с удовольствием даже втягивали в себя воздух, приносивший не кривясь, хотя почти все они были людьми не деревенскими, городскими и ничего родного не напоминали им эти запахи, просто выводили из жестокой действительности.

— Всю упряжь, — приказал Железняков, — все вожжи, уздечки, каждый ремешок, все сейчас же свить в жгуты. Шлен чтоб ни одной не осталось, все в дело.

И взвод ахнул. Действительно, сколько у них там ремней понапутано. Выход, на самом деле выход.

— А как же... — начал было старший ездовой Буйлин, — как же...

И все ездовые загудели, поддакивая. Им, крестьянским детям, внукам крестьянским, невыносимо было расставаться с предметами привычного деревенского обихода. Старики уже, лет под сорок мужики, они вообще, не в пример этой городской звонкой и зеленой братии огневигов, привыкли беречь каждый гвоздь, каждый ремешок. И вот на тебе, все отдай, все. А ездить как?

Они переминались с ноги на ногу, что-то толковали и не уходили, не бежали со всех ног выполнять приказание.

Но Железняков уже не видел их. И Поляков не видел, и Попов. Они уже прикидывали, как вязать, как крепить ременными жгутами, собирались к танкистам в соседнюю деревню Вязичню. Туда, как говорили, еще вечером вошла танковая бригада.

Железняков, подозвав старшину Епишина, отдал ему автомат. Сказал, чтоб из рук не выпускал, но завернул во что-нибудь, потому что никто до поры до времени не должен ни видеть, ни знать, что у артиллеристов завелась такая благодать. На Варшавке эта штука очень пригодится. Все, даже ездовые, тут же окружили Епишина, разглядывая и трогая диковину, поражаясь силе этого маленького ружьяца. Семьдесят два выстрела! Это же счастье владеть такой штукой. Но и патронов к ней не напасешься.

— А как заряжать? — спросил Епишин, уже разобравшийся в том, куда что вставлять и на что нажимать.

Но лейтенант и сам не знал. И решил поэтому сходиться к командиру роты автоматчиков. А вернувшись — научить всех своих. Во взводе все должны уметь стрелять из автомата. Убьет или ранит того, кто будет с ним, другой подхватит. Автомат у них во взводе обязан действовать беспрекословно.

У двери Железняков наткнулся на ездовых и даже не

понял сначала, почему они все еще здесь. Но когда услышал все те же слова — как же без упряжи... возить как... — вскипел. Он уже все решил. Понимал, что из такого боя выйти трудно. И коль на смерть идешь, то что тебе думать, как будут запрягать лошадей те, кто будет жить после тебя. Найдут и как и во что. Так же, как и он найдет, если повезет, если по нему фриц промажет. Пусть, наконец, ездовые проявят находчивость.

Не хочется расставаться с имуществом? Сейчас он им разъяснит. И очень доходчиво.

— Если через полчаса жгуты не будут готовы, — жестко глядя прямо в глаза ездовым, отрубил он, — с лошадьми останутся заряжающие и правильные, а вы вместо них пойдете в десант. И кончены разговоры. Бегом! Выполнять!

Командир роты автоматчиков с недоумением посмотрел на артиллериста. Зачем ему знать, как заряжается диск? У него что, автомат, что ли, есть?

Но Железнякова так задаром не купишь. Вдруг на Варшавке у немцев отыщем либо их, либо наш. Там, что ли, учиться, в снегу, что ли, когда пальцы не гнутся на морозе, трудно, что ли, показать?

Заряжать оказалось проще простого. Снял крышку, взвел пружину и вставляй стоймя все семьдесят два.

Провожая Железнякова, ротный взял его на улице под руку и, наклонившись, глянул остро и пронзительно.

— Ты, Витька, что ли, увел из штаба автомат? Ко мне уже из особого отдела два раза приходили. Всю роту опрашивали — кто да где был за этот час.

Железняков только пожал плечами.

— Что ты, Колька! Да и зачем мне? У меня пушки тоже могут слово сказать. Еще похлеще.

— Я никому не проговорюсь, — заверил ротный. — Просто интересно. Автоматы прямо как «катушки» охраняют, а кто-то свистнул. Я даже рад бы был, если б не кто-нибудь, а ты его заимел.

Нет, не поддался Железняков. Зачем? Не со зла, попросту, поделится с кем-нибудь Колька. И все, закрутилось колесо, ищи-свищи автомат, враз отнимут. А завтра на Варшавке поди-ка отними.

Сержант Попов, выстроив свой оружейный расчет, ходил перед ним, ругаясь на чем свет стоит. Рядом валялись какие-то короткие бревна. Но все становилось ясно при взгляде на дом, в стене которого зиял пролом, куда свободно могла бы въехать оружейная упряжка.

— Отъелись, жеребцы? — бесом крутился сержант. — Отдохнули? Кому это втемяшило за простенок цепляться?

Железняков усмехнулся. На совесть, значит, потрудились ездовые, коль при испытании жгута его не порвали, а дом чуть с места не своротили. И остановил расходившегося сержанта:

— Ладно, пусть как-нибудь залатают, на наше время хватит. Давай-ка седлай, поедем к танкистам.

В Вязичне, прижавшись бортами вплотную к домам так, что чуть ли не целиком накрылись их заметенными снегом крышами, стоят тридцатьчетверки.

Артиллеристы и приехавшие с ними вместе пехотинцы одинаково ахают от восторга. Впервые за всю войну им выпало такое счастье. Никогда еще даже видеть не приходилось, да еще столько разом, в одном месте.

Их знакомят с экипажами. Показывают танки, на которых с рассветом пойдут они в бой. Пехотинцы робеют, мнутя, заискивают, а хозяева брони покровительственно похлопывают их — пехота, не робей, с нами не пропадешь.

Железняков, которому Михалевич перед отъездом засунул в карманы две фляги водки, угощает экипажи, с которыми вместе пойдут его расчеты к Варшавке. Хотя он внутренне в смятении. Все-таки не просто солдаты перед ним, танкисты, у них слова и те не такие, как у всех — экипаж... триплекс... люк. Он готов повторять их

как стихи, как песню. Но Михалевича поминает на одном с ними уровне. Надо же, как понимает мужик жизнь. Железнякову самому ни в жизнь не сообразить бы насчет фляги и колбасы. И смотри-ка, танкисты, аристократы войны, так сказать, уже с ними за панибрата. Он теперь для них Витя. А командир предпоследнего в завтрашней колонне танка, на котором ему идти, тоже теперь не товарищ старший лейтенант, а Валька, просто Валька — и все тут.

Но танк ему все же не очень нравится. Крюк, правда, есть. Но не один — два. Прикрепишься к правому, под правую гусеницу и уволочет. К левому тоже не лучше. А чтоб держаться посередине — запаса жгутов не хватит. Но выручают танкисты. Дарят целую связку гибких металлических тросиков. Прямо счастье. И какой молодец Михалевич. Что значит фляга для взаимопонимания.

Попов с Поляковым облазили каждый свой танк. Вроде бы и все хорошо, да неудобно будет на ходу держаться. Просто не за что. Хоть бы штыри какие-нибудь были на башне или скобы. Не думал, наверно, никто, что на броню кого-нибудь забросит. Для экипажа все ладилось, внутри, не сверху.

Танкисты провожают их до церкви на выходе из села. Обещают приладить к своим машинам меж крючьями петли из тросов, чтоб быстрее могли зацепиться пушкари со своими орудиями, чтоб минуты лишней не пришлось стоять на Красной Горе под погрузкой.

До рассвета остается всего лишь час.

С первым солнечным лучом на дороге из Вязични появляется танк. Он идет один. Весь в радужном сиянии, в вихрях снежной пыли. Затаившись за избами, под навесами, как строго-настрого приказано всем, чтоб не демаскировать, чтоб не углядела заранее немецкая авиация, волнуясь, ждет его стрелковый полк. Как назло

солнце залило ярким светом все вокруг. И сияющий вихрь, мчащийся от Вязични к Красной Горе, немцы могут увидеть с какого-нибудь наблюдательного пункта. Тогда беда.

Влетев в Красную Гору, танк с разгона останавливается и, кажется, оседает, вращается в снежную дорогу. Не успевает осесть поднятая им туча снежного крошева, как выскакивает из-за укрытий группа, назначенная в десант на эту машину. И только-только гложет мотор, как из люков выскакивают три черные фигуры с головами в ребристых шлемах и орут во весь голос на бегущую во весь дух пехоту.

— Быстрей! Не задерживаться! Что копаются?

Черные замасленные ватники как из потустороннего мира врезались в белую кипень маскхалатов среди огромного белого поля и белых домов. Они не смотрят на тех, кого подгоняют, крутят задранными вверх головами, их интересует небо, только небо. С него скорее всего ударит смерть. А пехота все никак не усядется на броню.

И артиллеристы еще не успевают добежать до танка, как тот срывается с места, унося на себе первую группу десантников. Растерянно глядят ему вслед шестеро огневики, опустив паземь шесть ящиков со снарядами. Надо же! Они хотели их отдать десантникам, чтобы те сбросили их где-нибудь на Варшавке. Артиллеристы, собрав потом свои ящики, получили бы полный боекомплект. Много ли увезешь на двух танках?

Быстрее всех приходит в себя наводчик Михалевич. Всего на несколько лет старше он самого молодого во взводе — лейтенанта, но великое дело жизненный опыт.

— Ребята! — кричит он в сторону домов, за которыми укрывается взвод. — Плевать теперь на маскировку! Давай все снаряды сюда. Галопчиком! Галопчиком!

Конечно, если из-за домов таскать, опять не успеешь. Уже на подходе из Вязични следующий танк.

И вот уже опять, вглядываясь в небо, орут танкисты:

— Быстрей! Живей! Не задерживай!

— Ну прямо братья двоюродные с теми, с первыми! — кричит, смеясь, Нестеров и сует прямо в руки танкисту ящик со снарядами. — Держи, братик!

Очередная машина уносит к Варшавке двенадцать ящиков снарядов. Они придут туда раньше пушек, которые будут цепляться к последним танкам.

А на месте посадки вырастает целая гора снарядных ящиков. Пехотинцы спотыкаются о них, падают, злятся. Кто-то из пехотных командиров кричит, чтобы не смели загромождать, чтобы убрали. Железняков, закинув за спину автомат, носится как и все, таская снаряды.

— Не отнимут, лейтенант? — подначивает Нестеров, кивая на бегу на автомат.

— Не отнимут. Некому. Да его и не видит никто.

В ответ на пехотные приказы Железняков отдает артиллеристам свой:

— Всех, до капитана включительно, посылать... — Он на миг умолкает: нельзя же так — и быстро заканчивает: — Посылать ко мне! С остальными не разговаривать. Снаряды вынести все!

Никто теперь не обращает внимания на крики танкистов, да и не медлит никто, уже наладилась посадка, вошла в ритм, все делается мгновенно. И снаряды расхватываются десантниками тоже мгновенно. Но артиллеристы уже выбились из сил. А Железнякову еще и автомат мешаает. Хоть и маленькое ружьецо, но даже с таким трудно. Запыхавшись, он снимает с ремня автомат и, прислонив его к штабелю снарядов, бросает и бросает на танк очередные ящики. Всего минута проходит, пока он вдруг спохватился. Автомат! Он сдуру выпустил из рук автомат! И точно — автомата уже нет. Вот тебе и не видит никто. Еще как видят!

Лейтенант быстро обежал штабель, придирчиво и злобно разглядывая носящихся кругом пехотинцев, за-

лез, расталкивая всех, на танк, прыгнул с него. Нет, нигде не углядел, ни у кого. Со всего размаха треснул он себя по лбу: балбес, не знаешь, что ли, как ценится сейчас оружие! Жизнь ему сейчас цена.

Взревев, ушел очередной танк, унося десант, снаряды и автомат, наверно, тоже, его автомат! И уж совсем неожиданно даже для самого себя вдруг расхохотался Железняков. Нервный был смех, никак не остановишь, но с ним ушла и злость к похитителю. За три часа всего у автомата сменилось три хозяина. Но все будет, как должно быть: автомат ушел на Варшавку, будет бить там врага, не останется он пустым украшением.

Наконец подошли и последние танки. Артиллеристам уже казалось, что их побывало на Красной Горе с сотню, не меньше.

Железняков с расчетом сержанта Полякова быстро и надежно закрепил орудие на крюках, и артиллеристы облепили танковую башню. Теперь только вперед.

Но оказалось, что еще далеко не все.

Танк на выезде из деревни вышел на скос дороги, который первые двенадцать машин легко одолели, а он наклонился, заскрежетал гусеницами по льду, и пушка легла на бок.

Соскочив с брони, расчет пытался поставить ее на колеса, однако, как всегда, рвалось там, где тонко. Орудие зацепилось за какой-то столбик, танк рванул сильнее, и лопнули все жгуты и тросы.

Танкисты, матерясь, вылезли на броню. Артиллеристы так и сяк пытались скрепить жгуты и снова привязать к крюкам орудие. Но куда там. А в это время четырнадцатый танк с орудием Попова на привязи, едва не касаясь бортом остановившегося товарища, обходит его полем.

Секунды нет у Железнякова на размышление. А решать надо немедленно. Да внутренне он уже все понял: с этим орудием все кончено. И он прыгает с брони пря-

мо в гущу десантников на набирающий окорость четырнадцатый.

Его подхватывают на лету, не дают упасть. Он, уже стоя, держится за танковый ствол.

— Догнать, — орет он, перекрывая рев танкового мотора и грозя кулаком сержанту. — Догнать!

Он уже знает, что тому этого не сделать. Ему было все ясно в секунду, когда орудие и не оторвалось даже, а только опрокинулось. Но он продолжает грозить и кричать: «Догнать!».

Впереди на крутом холме горела деревня. Горела вся разом. Не было, кажется, ни одного дома, ни одного сарая, не охваченного пламенем. Какие-то черные лохмотья, как вороны, стаями носились над пламенем. А в нем что-то гремело, взрывалось, брызгало снопами искр.

Танк разом сбавил скорость и встал. Лязгнул металл, встала торчком круглая толстая крышка, и из черного колодца башни, вращая во все стороны кожаной ребристой головой, словно вывинтился до пояса черный, как антрацит, танкист.

— Чья деревня? — заорал он, словно все тут были виноваты в том, что встала у них на пути эта горящая деревня.



Командир огневого взвода противотанковой батареи 1154-го полка Григорий Каменир. Погиб в день прорыва десанта на Варшавское шоссе вместе с артиллерийским расчетом.

А действительно, чья? Вполне могла быть и немецкой. И гореть должна была именно потому, что была немецкой, и по ней прогремела бригада.

Но если это так, то справа и слева вполне могут затаиться немецкие батареи. И минуту-другую спустя танк вспыхнет, как свечка, не успев понять, откуда ударила смерть.

Однако черный танкист не собирался давать невидному врагу этих самых минут. Еще не пробежали стрелки секундомеров второго круга, а броневая крышка уже лязгнула, наглухо запечатав башню, и танк сорвался с места.

— Я атакую! — проорал, ввинчиваясь обратно в башню, черный танкист. — А как ворвусь в деревню — отцепляй орудие и поддерживай меня! Поддерживай! Подде... !

Она не была немецкой, огненная деревня Проходы. Она потому и горела, что была нашей, последней нашей деревней перед немецким передним краем и через нее — иного-то пути не было — шла на немцев гвардейская танковая бригада, неся на себе десант тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

Немцы не сумели, не успели ударить по увертливым тридцатьчетверкам на деревенских улицах. Не попали даже по медлительным КВ, проплывшим через Проходы. Но деревня-то, деревня, она осталась неподвижной со всеми своими постройками. Они-то и приняли в свои легкие деревянные стены весь ревуший металл, предназначенный для того, чтобы рвать и кромсать на части тяжелую танковую броню.

Танки были уже далеко. Они ломались через немецкий передний край и, протаранив его, уходили все дальше и дальше к Варшавскому шоссе. А по деревне Проходы шквальным огнем все била и била немецкая артиллерия. Деревня горела жарко, полыхало все, что только могло: дома, сарай, поленницы дров, стога сена. Сугро-

бы, завалившие дома чуть ли не до самых крыш, истаяли, и по крутым уличным спускам бурно неслись потоки горячей воды, крутя какие-то щепки, мусор, катя и перекатывая камни. Пар подымался выше берез, белыми полотнищами раздвигая черные и синеватые клубы дыма. Бурлящие ручьи заливали склоны холма, на вершине которого стояла деревня Проходы. Вверху, возле огня, широкой полосой обнажилась черная с зеленью земля. Но уже на середине спуска вода густела: как-никак, а мороз около тридцати градусов. У подножия холма выросло целое ледяное поле, на которое все катились и катились потоки замерзающей на ходу воды.

Прямо на эту, круто уходящую вверх ледяную площадь, вылетел из-за поворота четырнадцатый танк и забуксовал, закружился на месте. Бешено ревел мотор, траки слились в одну сверкающую ленту, крошево льда, ледяная пыль и водяные брызги летели из-под них во все стороны, но грозная боевая машина в гору не шла.

Снова смолк мотор, лязгнула крышка люка. Черный танкист с багровым лицом, распаренным жарою внутри стальной коробки, штопором ввинтился из башни в синее небо. Зверем глянул на съезжившихся, прижавшихся к броне бледных замерзших десантников, сдернул с головы ребристый шлем и, крутя им над головой, заорал:

— Долой все с машины! Отцепляй пушку! Ищи объезд!

— Ты, — рванулся к нему, захлебываясь от гнева, Железняков. — Ты, психопат недобитый!

Танкист покосился на белые пальцы артиллериста, царапающие темную кобуру, глянул в его худое ожесточенное лицо и, ни слова не ответив, стал медленно ввинчиваться обратно в башню.

Полчаса спустя четырнадцатый одолел крутой подъем и на самом краю деревни Проходы рухнул с бугра, подняв тучи брызг. Громадная лужа, нет, целое озеро го-

рячей, покрытой густым паром воды оказалось над головой. Странно засверкали в морозном воздухе водяные каскады, разбрасываемые гусеницами танка. Он мчал меж пылающих домов, и десантники закрывались руками то от воды, то от пламени, полыхающего со всех сторон. Им нечем дышать: дым, огонь, тучи пара от воды, бьющей из-под танка в пожарища, вихревыми всплесками сопровождают их по всей деревенской улице. Как только держатся танкисты в раскалившемся железном ящике, как находят вслепую дорогу!

В странном сиянии радужных брызг, словно корабль на берег, выбросился наконец танк на окраину Проходов. Действительно, Проходы — чистилище, если не самый огненный ад.

Опять короткая остановка. И черный танкист вместе с Железняковым разглядывают с высоты башни поле боя. Поле как поле — снежная равнина, залитая ровным светом утреннего солнца. Но он колеблется, этот свет. Прозрачные пятнышки вперемежку с черными точками бегут по снегу, будто по всему двухверстному склону, до самой Медвенки, занятой немцами, струится редкая, тонкая кисея. Это, перекрывая солнечный свет с востока, пробиваются сквозь дым и струи раскаленного воздуха отсветы пламени горящей деревни. В них словно бы движется, меняя очертания и расплываясь, все, что от века не трогалось с места. Темные, приземистые, утонувшие в снегу избы Медвенки, удлинняясь, дрожат, как в ознобе, в них не осталось прямых линий, все извивается, гнется и светлеет. Растворяется в горячем движении, стала прозрачной на вид, волнами пошла вся оборона врага в деревне Медвенка. Зигзагообразно струясь вверх, ввинчиваются над нею в синее небо черные голые стволы деревьев. Лавина раскаленного воздуха, пронизываемая справа лучами утреннего солнца, смерчевыми вихрями кружит над полем. И в этом сплошном мареве кажутся нереальными, нездешними, ни к ко-

му тут на броне не относящимися грозные приметы войны на бескрайнем, сверкающем и слепящем ярко белозной поле — две глубокие темные борозды, просверленные танками в перевозданном снегу.

Никто не видит солнца: всем просто не до него, не до утренней зимней красоты родной земли. Боевая машина вздрагивает от нетерпения. Но она уже не четырнадцатая. Четырнадцатой она была час назад, уходя из Красной Горки. Впереди, там, где танковые борозды проломли, перечеркнули грязные линии немецких траншей, уже далеко за ними врезаются прямо из снега в ясное небо четыре черных смоляных столба дыма — горят тридцатьчетверки. Но они горят во вражеском тылу, прорвав оборону врага, вынеся на себе десант пехоты туда, откуда смерть заносит руку над полумиллионной немецкой четвертой полевой армией. Это они, горящие возле Варшавки танки, совершили то, что до сих пор не удавалось никому. Десант уже на шоссе! На шоссе десант, что бы там ни было!

Танк выдохся. Он стоял по пояс в снегу и вздрагивал, дрожал всем корпусом, как загнанная, запаленная лошадь. Огромный неуклюжий зеленовато-черный металлический ящик с облупившейся белой краской словно кипел от бессилия и злости. Снег, ласковый пушистый снег, не выпускал его, мягко расступаясь и поддаваясь любому его движению. Оседая под бешено молотившими вхолостую гусеницами, он все глубже и глубже всасывал тяжелую броневую махину. Сначала он был ей только по пояс, потом по грудь, а вскоре только башня да фигуры десантников темнели над белой равниной.

Неуклюжий железный ящик сколько мог волок через целинный снег привязанную к нему сзади пушку, нес на своей черной броневой спине два десятка белых кулей — десант пехоты, но теперь силы его кончились. Маленькая легкая пушечка, которую по ровной земле свободно перекатывают четыре солдата, в вязком море сугробов

вдруг налилась многотонной тяжестью. Загребая щитом, как плугом, снежные горы, одолела она сотни лошадиных сил танкового дизеля, и он встал. Он еще грозил врагу, застрявший танк. Его орудийный ствол чутко разворачивался туда, откуда били немцы, и страшный черный зрачок его жерла словно принимался то к одной цели, то к другой, но собственная смерть уже дышала рядом. По-паучьи перебирая длинными лапами, она выскакивала то справа, то слева, вставала высокоими черными столбами дыма, заглядывала сверху, сверкая разноцветными молниями трассеров над башней, высекала пулями искры из брони. Он почти ослеп, видел через триплексы и прицелы только то, что попадало впереди в узкий сектор обзора. Но то, что виделось, было страшно: впереди горели его товарищи. Густые столбы черного маслянистого дыма подымались в небо и росли все выше и выше над тусклым желтоватым пламенем, метавшимся, бившим из таких же стальных коробок, которые всего полчаса назад — яростные и живые — промчались мимо него на обгон.

Рев танкового мотора глушил все звуки. Кроме надсадного воя дизеля, десантники, жавшиеся сверху к теплой вздрагивающей броневой спине, не слышали ничего, даже разрывов тяжелых стопятидесятимиллиметровых снарядов, даже звонких ударов пуль по металлу. Беззвучная же смерть казалась совсем не опасной. Ее как-то перестали принимать в расчет. Однако танкисты и сидевший позади башни командир огневого артиллерийского взвода лейтенант Железняков хорошо понимали: еще пять, ну от силы десять минут, и немецкие батареи от пристрелки перейдут к стрельбе на поражение. Нельзя, недопустимо долго стоять на поле боя, становясь полигонной мишенью, создавая для гитлеровцев идеальные условия стрельбы.

Резко и бесшумно вскинулась круглая броневая крышка. Из ревущего, дохнувшего жаром башенного

люка, как чертика на пружине, выбросило до пояса заколоченного черного кожаного человека в черном ребристом шлеме. Он в яростном крике разинул рот и... никто его не услышал. Танкист, беззвучно шевеля губами, перегнулся из башни, сграбастал черной пятерней, впечатав ее в белый халат, Железнякова, рванул его к себе и, в бешеной угрозе выпучив глаза, заорал что-то прямо ему в лицо. Когда минуту спустя захлебнулись танковые моторы, вернув миру все звуки, Железнякова словно кулаком ударило в ухо:

— Обрубай! Пушку! К чертовой матери!

Ничего он не слушал, черный танкист. Никаких резнов не принимал. Махал руками, скалил яркие белые зубы и рычал:

— Обрубай! Танк не тянет!

Танкист не мог дать задний ход, не раздавив пушку. А без этого ему никак не удавалось вырвать танк из снежного плена. Он никого не хотел слушать: его броневой ящик был сейчас главным на поле боя. Главным! Остальных могло вообще не быть, и черт с ними! И чем больше сгорело его товарищей, тем важнее для боя становился он, уцелевший танк.

Но и артиллеристы знали: если они даже смогут не разрубить, развязать обледеневшие узлы, никакими силами потом не удастся заново прикрепить орудие к танку. И Железняков тоже не хотел внимать никаким доводам, хотя пехота, сидевшая на танке, явно не одобряла его и угрюмо сочувствовала танкисту. Пехота тоже догадывалась, что будет твориться здесь через десять минут. Ему же было необходимо встать с пушкой на шоссе.

Железняков вырвал из кобуры наган и, левой рукой вцепившись в отворот танкистской куртки, высоко занес правую над черным шлемом.

— Вези! Быстрее!

Танкист от неожиданности смолк и, бормотнув что-то невнятное, провалился в люк, резко рванув за собой бро-

невую крышку. Железняков едва успел выхватить руку из-под тяжело лязгнувшей брони. Промедли — обрубил бы, как топором. Еще прознее и истошнее взревел дизель. Опять исчезли из мира сторонние звуки.

Красная, зеленая, голубая молнии сверкнули над башней. Беззвучно рухнул вниз один из десантников. Следом за ним в узкую щель между снежной стеной и готовыми все раздавить бешено крутящимися гусеницами нырнул наводчик Михалевич. Танк чуть не вмял его в снег, но Михалевич успел все же вытащить пехотинца, перевернул его, и все увидели рваные кровавые дыры в спине солдата, которому уже не нужна была никакая помощь.

Когда Михалевич, ухватившись за руки десантников, взобрался на танк, командир взвода, грозно глянув на него, толкнул наводчика к башне и сунул к носу кулак.

— Не смей, — закричал он. — Не смей рисковать! Ты наводчик, ты от пушки ни на шаг!

Промолов снежную трясину до твердой земли, танк все-таки вырвался из топкого плена и, переваливаясь по угорам, рванулся туда, где стояли черные дымные столбы развернувшегося боя. Ох, как засверкали над ним трассы. Слева всеми пулеметами ударила Медвенка. Справа шквальным огнем мела Алферьевская. Вся лавина раскаленного свинца неслась к нему, предназначалась ему одному, одинокому танку, медленно, очень медленно ползущему через заваленные снегом бугры и бугорки.

Ему было легче, чем бригаде: он шел по проложенному ею следу. Ему было тяжелее: теперь все окрестные немецкие стволы целились только в него. Фашистский свинец не мог пробить броню тридцатьчетверки. Но десантники, укрывавшиеся за тяжелой башней, ничем не были защищены от флангового огня. А с флангов лупили по ним во всю мочь Медвенка и Алферьевская.

Бригада, дравшаяся уже на Варшавке, на смертном

своем пути от Проходов до немецкого переднего края и за ним, в глубине обороны противника, всюду оставила за собою страшный кровавый след. По полю боя, справа и слева от последнего движущегося танка то густо, то поодиночке лежали убитые враги. Возле немецких окопов чужие шинели встречались целыми грудами, а дальше, вглубь, цепочками обозначали, куда бежали немцы и где их наконец настигла пуля.

Но там, где несколькими немецким пулеметам удалось разом вгрызаться в одну какую-нибудь из машин бригады, они тоже сметали с нее всех, всех до единого. И рядом с траншеей, по которой шел последний танк, лежали сраженные десантники: молодые и пожилые, ловкие когда-то и неуклюжие, с одной пулей в сердце или чуть ли не пополам разорванные пулеметной очередью.

Пехота тысяча сто пятьдесят четвертого полка, бежавшая по полю боя следом за танками, тоже оставила на снегу немалую часть. Те, кому не выпала доля ни пробиться, ни вернуться, полегли по всей ширине прорыва и в глубине его. Они лежали, застывая на тридцатиградусном морозе, отдавая миру последнее тепло своих тел. Кое-кто еще шевелился. Кто-то полз в сторону Проходов. Кто-то, от боли и потери крови утратив ориентировку, полз в немецкую сторону. Все это беззвучно проплывало мимо десантников, вцепившихся в танковую спину. Никому сейчас не могли они помочь: торопились в бой, в огонь, на Варшавку.

Никто не мог помочь и им. Не было над полем боя своей авиации. Артиллерия, стрелявшая из-за Проходов и высоты двести сорок восемь ноль, посылала свои редкие снаряды только далеко вперед, к Варшавке, на которой дрались сейчас бригада и тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

По всему полю всюду валялись раздерганные, измочаленные крестьянские сани, на которых, привязав их к



Старшина медицинской службы, разведчица 1154-го стрелкового полка Октябрина Жомина. Убита в 1943 г. на р. Пронс.

танкам, какое-то время ехали пехотинцы. Ехали меньше, чем рассчитывали. Дерево и веревки недолго уживались с броней. Сани переворачивались, загребали снег и отрывались. Пехотинцы, вываленные в снег, не отряхиваясь, только подобрав свою нехитрую боевую амуницию, выбирались из сугробов и торопились вслед за танками. Рядом с ними, казалось, идти надежнее. Танки не только стягивали к себе вражеский огонь, они броней своей от него же и прикрывали.

Снова ввалившись в какую-то яму, застрял в ней последний танк. И люди на броне, уже оступившие от ужаса, до краев наполни-

вшего сегодняшнее утро, даже не поворачивали теперь оловы в сторону приближавшихся разрывов. Они их по-прежнему не слышали.

И все-таки тупой удар рядом с собой лейтенант Железняков если не услышал, то почувствовал. Не ухом, всем телом принял он его и, еще не видя, во что врубился немецкий металл, сразу похолодел, понял — случилось непоправимое, беда, с ним случилась, с Железняковым.

Замерев, не желая видеть то, о чем он уже знал, лейтенант все-таки зашарил глазами вокруг и тут же со страхом отметил потускневшее лицо наводчика Михалевича.

А уже в следующий миг лица этого рядом не было. Михалевич лежал на снегу, сброшенный с брони болью и бессилием, и стонал, вдавливаясь головой в сугроб.

— Помогите, — услышали десантники его глухой прерывающийся голос, только лишь выключился танковый мотор. — По-мо-ги-те...

Все, кто был на броне, с надеждой смотрели на Железнякова: без его приказа никто не мог оставить танк. Лейтенант махнул рукой пехотинцу, сидевшему с края. Тот спрыгнул, повозился возле Михалевича, и, вскинув голову, затряс ею, показывая, что дело плохо.

Танк рванулся с места и опять заглох.

— Лейтенант, — оторвав голову от снега и глядя вслед, простонал Михалевич, — лейтенант, помогите...

Он обращался уже не ко всем, а только к нему, своему командиру. И жалость, гнев, бессилие, смешавшись, забились где-то в груди. Что он мог сделать, лейтенант, что? Он шел в бой, в немецкий тыл, и не смел ни сам ни на миг задерживаться, ни людей своих оставить с Михалевичем, тех, кого бы он хотел, товарищей по батарее. Их и так оставалось в расчете только трое.

Но раненому, страдающему, какое дело до этих забот. Он вышел, выпал из них — все заслонила дикая боль и ощущение близкой гибели.

— Витя, не бросай, — взмолился Михалевич. — Витя, помоги...

А танк, сорвавшись вдруг с места, набрал скорость и пошел под гору, и понес.

— Доставь в санроту, — успел крикнуть пехотинцу Железняков. — Доставь! Головой мне ответишь!

Он обманывал. И хорошо это знал. Обманывал прежде всего себя. И раненого, и десантников. Знал, что головою никто не ответит за жизнь, отданную бою. Знал, что помощи надежной не оставил. Фамилии даже не знал пехотинца. Просто себя утешал, заходясь в бесполезном крике.

Так и унес его танк, а в ушах все звенело: «Витя... Витя...»

Не звал он его никогда по имени, наводчик Михале-вич. И служба не позволяла, и может быть, и не знал он его имени. А вот пришел смертный час — откуда-то всплыло.

Хороший был солдат Михалевиц, надежный, толко-вый, во всем можно было на него положиться...

«А ты вот в опасности смертельной оставил его, — опять резануло по сердцу, — беспомощного оставил. Вот и казись теперь. И не виноват вроде — жестокое дело война, да прощенья у себя же и не получишь».

И еще успел вспомнить Железняков, как не отпустил он Михалевица, когда комиссар батареи Старостин хо-тел назначить его писарем. Очень уж хорошим наводчи-ком был Михалевиц. Четко и быстро работал у орудия. Команды ловил на лету. Снаряды как гвозди вколачи-вал в цель. Как же остаться без такого наводчика? На-водчик в артиллерии фигура самая главная. А писарь — там любой подойдет, был бы грамотный.

Комиссар поспорил, поспорил да бросил.

«Витя, помоги... Витя, не бросай».

Что же ты не отдал его в писаря, Витя? Неси теперь в себе всю жизнь этот стон.

Конечно, сделал ты единственное, что мог: дал сол-дата, тот должен вынести его из боя... Но нет, не отку-питься тебе этим от вины. Тебя просили, лично тебя — не бросай. А ты бросил. Что ни говори теперь — война виновата, бой не ждал, еще приведи два десятка причин, на самом деле серьезных, веских, не пустых, все равно себе себя не простить, не снять с себя тяжести. Оставил ты товарища, однополчанина, оставил без себя на смерт-ном поле.

На шоссе весело и празднично, словно на деревен-ском гулянье. Ходят по нему в обнимку неуклюжие, как медведи, мужики в белых мешковатых костюмах. На каждом почти немецкий автомат, а то и два. Это не счи-тая собственной винтовки со штыком, вещевого мешка, набитого патронами, и прочего. Километра на полтора заполонили шоссе, горланят всюду, каждый, кажется, должен перекричать всех, не остыли от возбуждения, об-нимаются, обмениваются трофеями. Как по березовой ал-лее, бродят и бегают они по накатанному асфальту, ма-тово поблескивающему меж вековых, в два обхвата де-реьев. Что-то жуют, что-то тащат, рассматривают как-кие-то бумаги и вещи. Все им любопытно, все в диковин-ку, вроде бы не той стала родная сторона, побывав под сапогом у врага. Трактор «Сталинец», замерший за обо-чиной, видно, с октября сорок первого, собрал вокруг себя полтора десятка «механиков». Пробуют завести. Немецкий вздоход, только недавно сброшенный танком в канаву, тоже не оставляет равнодушным.

Трупы гитлеровцев в тусклых сизо-зеленых шинелях, сплошь устелившие канавы, выброшенные за дорогу, уткнувшиеся в снег далеко в стороне, где достала их пу-ля, пользуются недобрым вниманием. То одного, то дру-гого переворачивают, отыскивают в карманах последние документы. Ветер носит по шоссе груды шелестящих ли-сточков. Даже это слышно здесь: сюда еще не бьет не-мецкая артиллерия.

Мертвые гитлеровцы! Никогда еще не приходилось тысяча сто пятьдесят четвертому полку видеть такое их количество. До сих пор — два месяца подряд — полку приходилось видеть только своих убитых да выносить с поля боя своих раненых. За немецкий передний край пе-решагнуть удавалось не часто, а их убитые там, за этой чертой, за окопами и находились, там и оставались.

Теперь вот они, проклятые! Далеко забрались в Рос-сию, чтобы расстаться тут с жизнью. Кажется, на каж-

дом третьем витые, серебриющиеся на солнце офицерские погоны. Даже два генерала валяются возле штабных автомобилей, сбитых танками в канавы.

Конечно, гитлеровцы подумать не могли, что танки, выходящие с поля на дорогу, принадлежат противнику. Давным-давно уверовали они тут в полную свою безопасность. Тут могли только снарядом или бомбой достать, да и то далеко не всюду. Вот и валяются теперь трупы близ деревни Людково, где четыре дня назад карандаш генерала Болдина красной острой стрелой перерубил Варшавское шоссе.

Противник еще не опомнился, не разобрались далекие штабы в обстановке под Людковом. Бьют тяжелыми калибрами далеко за Варшавку, закрывая брешь в своей обороне, прорванной между Медвенкой и Алферьевской. По убитым бьют, раскинувшимся там по всему полю. Даже те немецкие наблюдатели, которым издали поле видно, как на ладони, не доверяют русским мертвецам, думают: хитрят, залегли, вот-вот поднимутся и рванут вперед. Вот и держат их огнем дальнобойных батарей. Рассчитывают, что отбивают наступление полка — так много в поле белых халатов. А полк, вернее то, что осталось от него после прорыва, уже на Варшавке. Но ни один немецкий ствол еще не нацелился сюда. Чуть не час — огромное в бою время — ни один немецкий снаряд не ударил по шоссе. Поэтому людям тут кажется, что бой уже закончился, победа окончательна, сегодняшний яркий солнечный день так и останется праздником.

— Во дает пехота! — загалдели десантники с четырнадцатого танка, добравшегося наконец до Варшавки. — Во дает!

Все стоят на остановившемся танке и с удивлением разглядывают столпотворение на шоссе. Только черный танкист, в первый раз выбравшийся из башни с ногами и оказавшийся ростом всего по плечо Железнякову, смотрит в сторону, куда уходят следы бригады, двинувшейся

на Людково, и откуда из-за холма чадят дымные столбы горящих танков.

— Витя! — окликает его снизу выбравшийся из недалекого кювета танкист. — Ну, повезло тебе, друг...

Оказывается, танк, на котором сначала шел в десант Железняков, обогнав товарищей, сгорел самым первым, подставив борт противотанковой пушке, затаившейся на западной окраине Людково. Эта же пушка в упор расстреляла всех десантников и выскочивших на снег танкистов. Чудом уцелел только командир этого танка, с которым Железняков вчера вечером долго разговаривал в Вязичне. Обожженный, раненый, но живой, он рассказывал вновь прибывшим, как оно все тут было.

На шоссе все сошло гладко, как нельзя лучше, ну а в деревню не прорвался никто. Огонь оттуда невероятно сильный. Одних пушек кругом понатыкано дивизиона два, не меньше. Это в тыловой-то деревне.

— Дай, Витя, на пяток минут рукавичку, — попросил обгоревший танкист, — рука что-то мерзнет.

Еще б не мерзнуть руке — по локоть голая, рукав разрезан, по белому бинту пятна крови, обмотана какими-то тряпками.

— Обе возьми, что ты! — стряхивает меховые рукавицы Железняков. — Грейся. И в санчасть дуй, что ты здесь болтаешься?

— В санчасть? — криво усмехается танкист. — За Проходами санчасть, туда сейчас без танка не дунешь. А рукавичку я верну, не бойся.

Ни рукавиц, ни танкиста не увидел больше Железняков. И не скажи тот «не бойся» про рукавицы, наверно, сразу бы и забылся. А так всю войну потом возникали они вместе. Танкист, рукавицы, Варшавка и опять танкист с рукавицами.

Железняков, спрыгнув с танка, проваливаясь по пояс в снег, выбрался на шоссе. Сбились к нему пехотинцы, и новости, новости, новости обрушились на него лавиной.

Едва прошел полк Проходы, когда смертельно ранен был командир его майор Минин. Тем же снарядом контужен комиссар Чичибабин. Не осталось сейчас в строю никого из командиров батальонов. И старшим по званию и должности стал на Варшавке капитан Кузнецов — начальник разведки дивизии, который пробился к десанту, когда немцы уже закрыли брешь в обороне. Он и принял на себя командование тысяча сто пятьдесят четвертым. Прорвались сюда живыми — уже подсчитано — шестьсот человек.

Капитан Кузнецов теперь наводит порядок на Варшавке. Кричат взводные командиры, собирая своих бойцов. Озабоченно бегают связные. Кузнецов стягивает полк к Людкову.

Лихой молодецкий свист заставляет Железнякова обернуться в поле. Так свистит один только человек в полку — командир его орудия сержант Попов. Он и спешит к шоссе от орудия, сиротливо стоящего с тремя артиллеристами при нем в сотне метров от дороги. Ни танка, ни пехотинцев-десантников в помине нет, все уже в своих ротах. Орудийному расчету пушку на шоссе не вытаскать, просто с места не сдвинуть, от нее только верхняя часть щита и виднеется, остальное утонуло в снегу.

— К орудью! — орет во всю глотку Попов. И снова засунув в рот четыре пальца, по-деревенски заливаются разбойничьим свистом. — Давай к орудью, пехота!

— Шуляк, — повернулся к фотному командиру Железняков, — помогн.

Но ротному и скомандовать не пришлось: до полусотни бойцов, увязая по пояс, рванулись в поле.

Месяца четыре назад на формировании эти деревенские мужики и городские парни, солдатскому делу не обученные, все бы силы приложили, чтоб увильнуть от тяжелого труда. У каждого нашлось бы дело подальше отсюда. Пушку из снега тащить без приказа — что они, трактора или лошади? Ох, с какой неохотой во время

полевых учений они ходили помогать артиллеристам. Теперь, побывав в боях, узнав цену пушечному удару, а на войне всему одна цена — жизнь, хлеб бросят, консервы, шинель, но пушку не оставят.

Облепила пехота орудие, суетится, словно муравьи толкуются со всех сторон, каждый протискивается вперед, хоть одной рукой да подтолкнуть пушку к шоссе, хоть чуть-чуть да помочь ее подвинуть. К станинам, к колесам, к лямкам, к щиту прикипели десятки рук и плеч. Как сороконожка, зашевелилась и тронулась пушка. Вся вместе с колесами поднялась над солдатскими касками, задрала ствол и поплыла, как на плоту.

— Командира батареи к командиру полка! — пронеслось над шоссе от солдата к солдату.

И Железняков помчался на зов.

Но командир, плотный невысокий капитан, уже сам шел ему навстречу. Он просто катился колом по шоссе, такой он был весь круглый в пузырящемся белом костюме, круглолицый, с темными круглыми, чуть навыкате глазами, сиявшими из круга затянутого капюшона.

— Комбат, — остановил он начавшего рапортовать Железнякова, — мы уходим брать Людково. Ты остаешься здесь, у мостика, вот тут у верстового столба двести сорок восемь.

Железняков доложил, что он не комбат, взводный, огневого взвода командир.

— Вернемся, будешь комбатом, — смеясь, пообещал капитан.

Он оставлял орудие здесь у мостика, не брал его с собою к Людкову, рассчитывая, что пушка со взводом приданной ей пехоты надежно прикроет наступающих с тыла. С поворотом полка на восток, на Людково, здесь, на западной оконечности захваченного, оседланного полком отрезка Варшавского шоссе, на двести сорок восемь его километре образовался тыл.

— Начальником арьергарда назначаю тебя, ком-

бат, — серьезно сказал капитан. — Ни танк, ни орудие, ни автомашина с немецкими солдатами дальше этого мостика пройти не должны.

Все. Кольцо десанта, оседлавшего Варшавку, сплющилось, вытянулось в овал, превратилось в рукоять молота. Только в самом молоте будут и танки, и весь почти тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Двухкилометровую рукоять займет одна рота. А здесь, у мостика на двести сорок восьмом километре, всего три десятка солдат и пушка. Это они должны не пропустить никого из Адамовки. Это за их спиной полк должен чувствовать себя, как за каменной стеною.

— Держись, комбат, как Багратион, держись, — сказал Кузнецов и ушел.

Железняков долго смотрел ему вслед. Между рослых, размашисто шагавших разведчиков, невысокий капитан катился по шоссе, словно снежный шар. Но этот шар сейчас был центром всего, что вершилось на Варшавке. От него и к нему носились связные. Он останавливался, и останавливались все. Стоило ему начать во что-то всматриваться, и тут же все головы поворачивались в ту сторону. Провожая его взглядом, Железняков перестал замечать все вокруг и чуть головою не столкнулся с политруком Ненашкиным, собравшим свою роту и ухившимся с нею под Людково.

— Ты что? — загоготал тот. — Спишь? И у меня ничего не просишь? Ты же всегда людей просил, чего-нибудь тебе всегда надо было откуда-то вытаскивать. Может, сейчас дать?

Герой первых боев полка — политрук Ненашкин. Всех заставил забыть все шутки, которые до выхода на передний край так и липли к его фамилии. Он шел в огонь неторопливо, и казалось, что рядом с ним все стихает. Он подымался под пулями там, где никто не мог поднять головы. В страшную деревню Чебери, перед которой немецкие пулеметы положили наших друг на дру-



Справа — начальник политотдела 334-й дивизии полковой комиссар Никита Иванович Парашенко. Всю войну был фронтовым политработником. После войны — первый секретарь Витебского обкома КПБ, председатель Минского облисполкома, министр социального обеспечения Белоруссии. Умер и похоронен в Минске. Рядом — начальник клуба дивизии старший лейтенант Жировов. Снимок 1942 г.

га в четыре слоя, единственно кто прорвался — отчаянный политрук Ненашкин. Забросав все пулеметы гранатами, он вышел из этого неравного боя целым и невредимым.

Конечно, если кто и должен был живым выйти с десантом в тыл к немцам на Варшавку, так это он, Ненашкин. Вот он и стоит на ней твердо и уверенно, спокойно, вроде бы это не фашистский тыл, а наш.

Такого же роста мужик, что и Кузнецов, и комплекция та же, а не похож ничуть. Даже маскхалат, пузырящийся на нем, как и на Кузнецове, шаром его сделать не может. Отовсюду выпирают углы. И лицо хоть и в кругу капюшона, а квадратное.

— Людей? — опомнился Железняков. — Людей? Политрук, будь другом, выручи...

Еще бы не нужно было людей взводному Железнякову. Танки, подходя к шоссе и разворачиваясь для боя, стряхивали с себя десантников и ящики со снарядами для сорокапятков. Они разбросаны всюду. Орудийному расчету не собрать их до ночи.

Досадливо крикнув, Ненашкин посмотрел на часы. Времени в обрез. Покрутил головой — пошутил на свою голову, напросился, но решил, не отказал в помощи:

— Рррота, слушай меня! Пятнадцать минут на сбор рядов.

А командиры взводов прокричали вслед за ним свое:

— Взвод...

— ...пятнадцать минут...

— ...собрать в поле все ящики со снарядами.

Как муравьи разбежались в поле солдаты. Прошли вдоль следов танковых гусениц, по плечи завязая в снегу, ныряя в него, как в воду, со дна земного вытаскивая тяжелые ящики, сложили их у ног Железнякова. Охотно и домовито возились они с этим, последним, пожалуй, в своей жизни таким с виду мирным занятием. Отряхивали ящики от снега, располагали поудобнее для артилле-

ристов. Впереди оставались дела сугубо военные — стрельба, раны, кровь, смерть своя и чужая.

— Спасибо, братья! — обнимали артиллеристы уходящих к Людкову стрелков. — Спасибо, век не забудем.

Недолгим оставался этот век. Почти никому из них не суждено было вернуться.

Но артиллеристы чувствовали себя перед стрелками чуть ли не предателями, будто действительно оставались в тылу: у мостика было так тихо, а пехота шла в сторону, где уже всюду грохотала и гремела перестрелка.

Что такое два километра? Пустыня, не расстояние. Всего-то за ближние холмы ушла пехота, ушли танки, а кажется, будто закатились они за тридевять земель, бросив тебя один на один с чужою землей. И знает Железняков, что земля эта совсем не чужая, его она, дедами и прадедами обжитая, но куда ни кинь взгляд, отовсюду, похоже, устремлены на тебя холодные стекла чужих оптических приборов. Всей кожей ощущается это, заставляет ежиться, чувствовать себя неудобно и одиноко, будто загнали тебя под микроскоп и разглядывают беспомощного, как вредоносную бактерию. Железняков, оглядываясь, прикидывает — откуда смотрит фриц. Из Медвенки — это ясно, из Алферьевской — тоже: мимо них только что прорывались. Но тревогой жалит со стороны Адамовки, хотя вроде бы рано оттуда-то. И из роши справа, куда фрицу ни на чем не попасть — целина непроходимая. Разве только разведка. Нет, чужая земля, чужая, хоть и своя.

Орудие расположил он на позицию в полусотне шагов от мостика на шоссе. Получилось будто на дне огромной чаши, перечеркнутой посередине Варшавским шоссе. В какую сторону ни глянь, до горизонта полтора-два километра. Конечно, лучше бы стрелять с высоты — с холма, с горы, но раз такого тут нет, сойдет как огневая позиция и гора наоборот — громадная воронка. Снизу вверх тоже все вокруг видно.

Первая цель пришла к орудию сама. С огромной скоростью, разогнавшись по крутому спуску шоссе, вынесся от Адамовки к мостику крытый брезентом грузовой «мерседес». Трое немцев — увидел за ветровым стеклом Железняков — весело смеялись, курили и руками отгоняли дым от шофера.

И вдруг под колесами задымился асфальт. Намертво охватили их надежные немецкие тормоза. Но инерция гнала грузовик к мостику.

Ужасом искаженные лица в кабине. Отставшие от рот красноармейцы, бросившиеся, выставив вперед оружие, наперехват автомашине. Все это одновременно схватил и прямым и боковым зрением Железняков, наклонясь к орудию.

Водитель уже начал разворот, не отрывая глаз от бегущих по шоссе пехотинцев и даже не глянув на свою смерть, в упор прищурившуюся на него черным глубоким зрачком орудийного жерла.

Какой-то миг Железняков медлил, держа руку на спусковом рычаге. Не по себе было. Как будто бьешь из-за угла, ножом в спину беззащитному. К тому же и пехота близко забежала сбоку. Он даже оглянулся на орудийный расчет. Но не увидел жалости на лицах, только ожидание. Тогда, обозлившись на себя, он рванул рычаг — стволом он автоматически все время сопровождал движущуюся автомашину. Действительно, нашел место для переживаний. Убитый сегодня враг не сможет убить тебя завтра.

Из кабины, окутавшейся дымом, не выскочил никто. Но через задний борт, стреляя на ходу, полезли гитлеровцы. И рухнули наземь два бойца, первыми подбежавшие с поля.

— Из-за тебя, гад, из-за тебя! — кричал себе Железняков, беглым огнем сажая снаряд за снарядом в неподвижный кузов и бегущих немцев. — Из-за тебя!

Все. Живых фашистов здесь нет. Десантники, облепившие машину, тащат из нее какие-то тюки, ящики, пакеты. Проходя назад мимо орудия, редко кто не крикнет артиллеристам слова одобрения: лихо, с первого снаряда застопорил лейтенант фрицевскую машину. А он и не слушает, не отрывает хмурого взгляда от медленно удаляющихся носилок — цены утраченного из-за сомнений мгновения.

— Танк! — разнеслось вдруг над дорогой. — Танк! Танк! Танк!

Действительно. Не зря кричит пехота. Не очень большой, однако какой-никакой, но танк возник на самом горизонте у Адамовки. «Два километра расстояния, — определил Железняков. — Полтора... Километр. Быстро идет. Под гору».

Ну что ж, пушка противотанковая, для того и поставлена, чтобы немецкие танки не ударили с тыла.

Непонятно сейчас, правда, где тыл, где фронт, в спину пехоте в общем не ударили бы.

Танк этот шел не в бой. Он просто двигался по тыловой дороге, не особенно-то и приглядываясь к тому, что делается вокруг. Не в бой он шел, но был солдатом — немецкий броневой ящик. Стоило ему увидеть неестественно накренившуюся автомашину возле мостика и трупы немецких солдат рядом с нею, как сразу же водитель рванул тормозные рычаги, захлопнул лобовой люк — и танк замер в полной боевой готовности. Через мгновение по белым маскхалатам, по серому шоссе, по кустарнику за обочинами сыпанул разноцветными искрами раскаленного свинца танковый пулемет.

Он много мог принести беды, откуда ни возьмись примчавшийся танк. Он мел и мел трассирующими пулями вдоль дороги и хмуро поводил из стороны в сторону тонкой черной пушкой, намереваясь где-то ужалить побольнее. Но ему тоже не повезло.

Железняков резко махнул рукавицей сверху вниз: «Рушь!» И рухнула снежная «крепость», открывая сектор обстрела.

Ох, как ему хотелось выстрелить первым, вражескому башнеру. Как спешил он, крутя вправо башню и одновременно опуская, опуская, опуская орудийный ствол к цели, которая выскочила вдруг сбоку внизу, у самых танковых лап.

Шоссе замерло. Ни выстрела, ни звука, только железный шелест крутящейся башни.

Но не успел фашист. Выпущенный в упор броневой снаряд проломил тонкую боковую стенку.

Он еще двигался, этот ящик с черно-белым крестом и остановившейся башней, а уже было ясно — больше он не жилец на свете. И когда после третьего пушечного удара внутри его что-то гулко рвануло, башня, скособочившись, осела набок и он замер на месте, белые маскиралы опять заполонили дорогу и налетели к артиллеристам обниматься.

И все-таки это еще был не бой. То есть не то чтобы не бой — были с обеих сторон убитые и раненые, но не сражение, а так, полигонная пальба. Сражение началось полтора часа спустя. Первыми просвистели в небе желтокрылые «мессершмитты». Пронеслись, полоснули вдоль шоссе пулеметами и исчезли. Двухкилометровый в длину островок, что он для скоростного истребителя — какие-то секунды лета. Но через минуту они вернулись, летя уже с меньшей скоростью и нацеливаясь на десантников с точностью выверенного немецкого механизма. И пошло, и пошло, и поехало.

Их, конечно, подняли в небо повыше: земля, ответившая пулеметным и ружейным огнем, была далеко не беззащитна. Сам капитан Кузнецов, приладив автомобильный руль к обломанному березовому стволу, ходил вокруг него, скользя стволом «дегтярева» по черному эбонитовому кругу, зло и коротко бил в небо, пока, за-

дымив, не отвалили в сторону два немецких истребителя, а остальные не ушли искать цели полегче.

Не беззащитна, нет, но как же была уязвима для авиации многострадальная пехота, именуемая царицей полей.

Получаса не прошло, как над головою десанта повисли «юнкеры» — бомбардировщики. Одна серия бомб за другой. Точно-не точно, далеко-близко, в цель-мимо, но все это здесь, в районе двухкилометрового овала под Людковом, рычало, падало на голову, взметалось в небо огненными вихрями, взвивалось чадными дымными столбами загоревшихся тридцатьчетверок, которым некуда было уйти с пылающего десантного острова.

И грохот, гул, обвальный бомбовый грохот до самой ночи заполонил весь день двадцать третьего февраля тысяча девятьсот сорок второго года на двести сорок восьмом километре Варшавского шоссе у деревни Людково.

И как только авиация начала свою смертную карусель над десантом, с запада от Адамовки, с востока из Людково, с севера и с юга рванулись в атаку накопившиеся вокруг полнокровные гитлеровские батальоны. Десять на одного, с танками впереди, сзади и на флангах. Сто орудийных стволов и еще больше минометов, поддерживая, ударили через их головы. Против одной сорокапятки и нескольких танковых пушек. Двадцать стволов на один.

Не успел тысяча сто пятьдесят четвертый полк взять деревню Людково. А теперь ему было уже и не до этого.

На армейском командном пункте генерал-лейтенант Болдин разглядывает в бинокль далекие фашистские самолеты, кружащиеся впереди над Варшавкой.

— Могли бы и пораньше, — коротко и брюзгливо говорит он будто бы сам себе. — Не по-немецки что-то. И артиллерии не густо.

Стоящие позади полковники и генералы понимающе покивали папахами. Немцы уже реагируют на десант, но всерьез его еще не принимают. Артиллерию туда не перебросили, авиации над шоссе немного, скорее даже мало — рассчитывают, видимо, справиться быстро.

— Кто поддерживает Глушкова? — спрашивает командарм у невысокого худощавого генерала, командующего артиллерией пятидесятой армии.

Мог бы и не спрашивать. Одна батарея стопятидесятидвухмиллиметровых пушек-гаубиц, знаменитая батарея Чугунова, прославившаяся под Тулой в единоборстве с танками. Генералу Леселидзе известно, что командарм знает об этом: каждая тяжелая батарея наперечет, штаб армии чуть ли не поорудийно ставит им задачи. Но оставить вопрос командующего без ответа нельзя. И Леселидзе, вздохнув, начинает доклад. Болдин не дает ему закончить.

— Поезжайте, Константин Николаевич, к Глушкову. Помогите там. Привлеките все, что можно. Сманеврируйте траекториями. Огневые перемещать нежелательно. Через час-полтора немцы увязнут окончательно, и мы начнем здесь.

Полк, умирающий на шоссе, не знает, что вскоре три армии нанесут удар по немецкой четвертой полевой, а из вражеского тыла пойдут на прорыв к Варшавке окруженная там тридцать третья армия и воздушно-десантные бригады.

Они не спасут тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Это уже никому не под силу. Да и не спастись пришел он сюда, тысяча сто пятьдесят четвертый. Сам он жизнью своею должен выручить их, всех тех, кто ударит через два часа. Выручить, взяв на себя, на одинокий полк, треть огня, предназначавшегося десяткам наступающих полков. Но, может быть, и ему станет полегче. Хоть на время, хоть на час-другой.

На краю леса, возле деревни Соловьевка, у трех сросшихся сосен в глубине опушки, еле заметна глубокая траншея, петляющая среди сугробов. Густые темные ели, растущие впереди, скрывают сосны так, что даже рядом не увидеть ни скоб, вбитых, как ступени, в сосновые стволы, ни площадки из толстых сосновых кругляшей, сложенной среди ветвей. Только круглые стекла стереотрубы, обвязанные со всех сторон хвоей, выглядывают там, отгородившись от солнца густыми кистями. Здесь передовой наблюдательный пункт артиллерийского полка триста сорок четвертой дивизии.

Генерал Леселидзе постоял под соснами, закинув голову вверх так, что папаха свалилась в снег. Похлопал ею, отряхивая, и усмехнулся.

— Не генеральское дело. Нет, не генеральское.

Послушал, как рядом все согласно загудели: «Не генеральское... риск... мы отвечаем... вам не надо... сами...». Надел папаху и взглядом остановил все голоса.

— Кто из командиров батарей стреляет лучше всех?

Среди белых маскхалатов, тесно слипшихся вокруг генерала в расширении траншеи, где, казалось, и шагу в сторону ступить нельзя, что-то прошелестело, сдвинулось, и неизвестно как впереди оказался невысокий, ровень с генералом человек с хмурым острым лицом, будто обшитый белым полотном поверх шинели, неестественно подтянутый среди мешковатых фигур.

— Комбат-четыре, лейтенант Панюшкин, — щегольски четко вскинул он руку к ушанке и щелкнул каблукми.

Генерал недоверчиво посмотрел вниз. Послышалось, что ли? Откуда тут каблуки, в снежной траншее, в мороз за двадцать градусов?

— Кто командир дивизиона?

Опять шелест. И снова щелк каблуков.

— Старший лейтенант Курочкин.

Леселидзе недовольно посмотрел на часы, демонстра-



Замполит
1154ср 344сд

Заместитель командира 1154-го стрелкового полка по политической части майор Застрожнов. 1943 г.

Но гул нарастал, свирепел, приближаясь от Адамовки, и Железняков мысленно удвоил количество вражеских стволов. Падая за щит орудия, услышал, что сзади тоже завывало страшно и накатило ближе, ближе, ближе. Тоже ударило батарея пять, не меньше. «Все, — решил он, ткнувшись горячим лицом в прохладный снег. — Амба. Камня на камне сейчас не останется».

Широко раскрытые черные глаза красноармейца Попова, в которых поблескивали тревожные искры, метну-

тивно отвернув рукав шинели.

— Пять минут вам, пижоны, переобуться в валенки и туда, туда, — он ткнул пальцем в небо. — Пижоны тут, понимаешь! Посмотрим, так ли стреляете, как каблуками щелкаете.

Он снова посмотрел на вершины сосен, усмехнулся: «Эх, не генеральское дело, — и полез по скобам вверх ловко и быстро, как не ходил по земле».

Свистящий гул летящего с неба металла вжал в землю пехоту и орудийный расчет сорокапятки у мостика на двести сорок восьмом километре Варшавского шоссе.

«Дивизион бьет, стволы пятнадцать», — определил Железняков.

лись ему навстречу из-под щита орудия. Два других бойца лежали рядом, глубоко зарывшись в сугроб, засыпанный стреляными гильзами. Один только командир расчета старшина Епишин, приподнявшись на локте и подтянув под себя ногу, выглядывал справа от пушечного колеса в сторону мостика, весь собранный, готовый к прыжку. Стыдом обожгло лейтенанта. Нашелся рядом с ним человек не потерявшийся, не пассивно ждущий удара, готовый к действию. А ведь падая Железняков успел заметить, что к ним двинулась от Адамовки целая колонна. Автомашины видел, впереди, сзади и в середине колонны — угловатые танки. Кто же будет их держать?

— К бою! — заорал он, пересилив себя и вскакивая на ноги.

Одного взгляда на шоссе было достаточно, чтобы определить: враг уже на полпути к их мостику. На передней машине танкист оседал в башню и дергал на себя крышку. Тоже готовился к бою. Над головою по-прежнему выло и свистело, но зеленые шинели в огромных пятнистых грузовиках не вскакивали, не суетились, ехали спокойно. За ревом моторов не слышали грозного неба. Да если б и слышали, им-то что бояться своих батарей?

Обвальная грохот неба, столкнувшегося с землей, снова бросил орудийный расчет в снег. Но Железняков не лег: немецкая колонна была слишком близко, а смерть, что с неба, что с земли, — все та же смерть. Он хотел обогнать ее, успеть до того, как она заплывет на огневой позиции, сжечь головной танк, загородить им шоссе. Может быть, и еще один. На час, на полчаса хотя бы задержать ход немецкой военной машины, ее удар по полку, остающемуся теперь без последней противотанковой пушки. Лейтенант нагнулся было к прицелу, но там за наводчика уже стоял старшина Епишин и, откинув броневой щиток, вжавшись глазом в резиновый круг окуляра, крутил поворотный и подъемный механиз-

мы, ведя оружейный ствол от мостика вверх по шоссе, навстречу немецкой колонне.

— Мишка, стой! Подпусти ближе! — рявкнул Железняков, но старшина не слышал.

Оттащив его за плечи от прицела, Железняков сам прильнул к окуляру, медленно закрутил маховики. Но в линзах не было ни танков, ни автомашин, ни шоссе, ничего — черное круглое пятно с еле видными на нем угломерными делениями, сплошная тьма. «Ослеп, что ли?» — удивился лейтенант. Но левый глаз видел зеленый щит, белый снег, золото медных гильз под ногами. Не видел правый — больно обведенный резавшим сквозь резину кругом окуляра.

Оторвавшись от прицела, он уткнулся взглядом в сплошную тучу клокочущего и гремящего дыма. Она начиналась чуть ли не сразу за мостиком и закрывала все шоссе, расползаясь за обочины, до самой Адамовки. «Вот почему ничего не было видно в прицел, — промелькнула и ушла мысль. — Но как же это свалилось на них, а не на нас?»

— По своим врезал фриц! По своим! — зашептал кто-то на ухо Железнякову.

Он только на миг оглянулся и увидел разинутый в бешеном радостном крике рот старшины, заметил обнимающихся и что-то орущих Поповых. А расслышать ничего уже было нельзя. Тонна за тонной рушились с неба снаряды, и все туда, туда — за мостик.

Руки Железнякова механически крутили маховики оружейных механизмов, на глаз вытягивая ствол под обрез дыма. А в дыму стояли, не двигаясь, горели немецкие машины.

Рев снарядов оборвался так же, как и начался, внезапно. Одновременно смолк страшный гул с неба. И по барабанным перепонкам резанул истошный нечеловеческий вой, несшийся из дыма и пламени: там в машинах горели раненые немцы.

Два горящих танка наискосок перегородили шоссе. За ними пламя лизало огромные немецкие машины. А солдаты в их кузовах так и сидели, не шевелясь, несущественно неподвижные, сраженные не услышанной ими, упавшей с неба смертью.

По полю справа и слева от шоссе, увязая по пояс в снегу, расползались гитлеровцы, успевшие выбраться из огня. В середине горячей колонны еще ворочался танк, расталкивая по кюветам машины, давя убитых и раненых, пытаясь выбраться в хвост колонны, отползающей задним ходом к Адамовке.

И только самый первый, не получивший повреждений танк два раза проскрежетал по асфальту гусеницами, разворачиваясь то назад, то вперед, решил, видимо, что назад в пламя через пристрелянный квадрат лучше не соваться, сорвался с места и на бешеной скорости устремился по пустому шоссе вперед к мостику, пролетел через него и вдруг скособочился и замер. Никто и не услышал короткого, в упор удара сорокапятки, проломившего броню.

И сам Железняков почти не заметил своего выстрела. Просто механически напнул к прицелу, сами собою, кажется, руки чуть прокрутили маховички, подведя перекрестие ниже левой гусеницы. И разгибаясь даже головы он не повернул, только покосился, когда ствол орудия дернулся назад при отдаче. Не промазал, остановил и ладно, другого и не ждал, сам напоролся фриц, опасность не в нем, опасно, если колонна вдруг стронется с места. Там, в ней, он был и взглядом и весь целиком. Поэтому первым уловил сдвоенный выстрел-разрыв дивизионного орудия, отметил султан желто-серого дыма, поднявшегося в центре горячей колонны возле немецкого танка, проталкивающего себя через завалы. Секунды не прошло, увидел, как четыре сдвоенных удара остановили этот танк навсегда.

— Да это же наши бьют! — заорал вдруг Елишин. —

Наши! Видят они шоссейку. Видят. Не пускают. Наши!

И пятеро парней, разогнувшись наконец за щитом маленькой пушки, стоя по колено в стреляных гильзах, утирая шапками пот, заливающий глаза, подталкивают друг друга, радуются, изумленно крича, что не немцы это били по своим, что невесть откуда подошедшая артиллерийская сила, как с неба упала, спасая их полк от удара с тыла.

— Костя это бьет! Курочкин! — кричит Железняков.

— Курочкину ура! — заходится в поле весь оружейный расчет.

Конечно, для них это старший лейтенант Курочкин. Его дивизион всегда идет с тысяча сто пятьдесят четвертым полком, а сам комдив возглавляет группу поддержки пехоты. Для всех в полку он главный бог войны, который все может, всегда готов прийти на помощь.

Бьют тяжелые пушки, стреляют издалека, чуть ли не вдоль фронта, артиллерийские дивизионы, и близко не подходившие к району дивизии, бьют дальнбойные таких калибров, которых здесь и слыхом не слыхали. Все равно, для десантников на шоссе Костя это бьет, Курочкин!

И самое удивительное в том, что это действительно бьет Курочкин. Он стоит на вершине сосны позади немецкого и нашего края, слившись маскхалатом со снегом, намерзшим на ветви, впился взглядом в короткую полосу асфальта, которую всего лишь на километр в длину и видно ему оттуда, но по этой полосе отныне никому на восток хода нет.

У него не было снарядов. Снаряды теперь есть. Генерал Леселидзе, усевшийся на толстый сук рядом с ним, то и дело, не отрываясь от телефонной трубки и стереотрубы, знаком требует у него карту и, отметив новые огневые позиции далеких батарей, приказывает: «Возьмите на себя управление огнем». И Курочкин берет. Сосредоточивает огонь. Строит веера, ставит заградительные

огни. Чем сейчас командует командир дивизиона? Полком? Бригадой? Он не знает. Он счастлив, дух захватывает от той мощи, что по его приказам шлет снаряды на Варшавку.

Вцепившись левой рукою в ствол сосны, висит внизу на скобах лейтенант Панюшкин. Ни разу не промахнулась его знаменитая в дивизии четвертая снайперская батарея. И генерал Леселидзе, уверовав в обоих лейтенантов, сделав батарею Панюшкина своей подручной, их огнем показывая цели, сосредоточивает на Варшавке огонь всех, кто только может туда достать.

Подручные батареи генерала Леселидзе бьют на выбор. Ликуя, шлют сюда редкие точные снаряды Курочкин с Панюшкиным. А тем временем штабы артиллерийских частей и штаб артиллерии армии, лоя команды генерала, сидящего на сосне, поднявшейся над немецким переднем краем, рассчитывают довороты батарей и полков, стреляющих пока по целям, расположенным за двадцать — двадцать пять километров отсюда. И если надо, кулак, собранный генералом Леселидзе и нависший над двести сорок восьмым километром, разом станет вдвое, втрое тяжелее.

Но и так почти на целый километр полыхает пожараще. Черный масляный дым подымается даже из-за холмов, скрывших дорогу на Адамовку. И через несколько минут вся вражеская колонна, перестроившись, отходит на запад, подальше от сатанинского огня.

— Нестеров! Сбегай, проверь, кто жив у пехоты. Молчат что-то, — опомнился Железняков.

Удача-то удачей. Им повезло: всех их тут, у мостика, уже могло и не быть на свете за два часа, что отбивали они немецкие атаки. А уж если бы горящая теперь немецкая колонна прорвалась, прогремела бы через мостик... Но кому-то и без этого не повезло. Давно уже не

слышно частого огня за дорогой, там, где главная сила роты прикрытия. Военная удача всегда в обнимку ходит со смертью.

Перескочив, как кошка, через шоссе, уполз, растворился среди берез Нестеров. Вот и нечего больше делать. И некуда стрелять. И не видно врага до самого горизонта, по всей окружности громадной белой чаши, перчеркнутой серой лентой шоссе, на дне которой с одной стороны стоит одинокое орудие, а с другой горят немецкие машины.

Но коль выпала на войне минута полегче, это не на отдых — на подготовку к следующей, которая будет, обязательно будет тяжелей.

Летят за огневую стреляные гильзы: мешают двигаться на позиции. Двое Поповых подтаскивают ящики со снарядами, выкладывают их поближе. Железнякав ломом поддевает станины орудия, но сошник так глубоко забило отдачей в снег, что одному не справиться. Весь расчет берется за ломы. А на что ему, лому, здесь опереться, тонет, на всю глубину уходит в снег. Вернувшийся от пехоты Нестеров надевает на лом гильзу и, положив на сошник станины, бьет по ней топором.

— Ты что! — вырывает у него топор сержант Попов. — Орудие калечить!

Как не вспомнить — месяца два назад сколько было шуму из-за царапины на пушке, а теперь боевое орудие вполне идет за наковальню.

Нестеров, оставшись без топора, хватается за лопату, звеня гильзами, окапывает станины, подсовывает под них снарядные ящики. И быстрее, чем сержант успевает его обругать, сует лом со сплюсненной гильзой на конце под сошник.

— А ну, взяли! — кричит Нестеров.

Но даже вчетвером они еще долго возятся, высвобождая лафет. Зато теперь орудие может бить вкруговую. По всему кольцу огневой позиции втрамбованы

солдатскими каблуками ящики, туго набитые гильзами. Теперь станины не тонут в рыхлом снегу.

Опыт. Бесценный опыт войны. Пригодится ли он кому-нибудь из орудийного расчета?

— Ротный командир Шуляк убит, — докладывает теперь Нестеров Железнякову. — Убиты оба взводные. И раньше-то никакая это была не рота, а теперь три калеки да шестеро целых.

Расчищая огневую позицию, считая оставшиеся снаряды, подтаскивая оружие убитых: автоматы с рожками магазинов, немецкие гранаты с длинными ручками, все, что сгодится в рукопашной, озабоченно вслушиваются огневики в разговор лейтенанта с Нестеровым. Такое, значит, теперь у них пехотное прикрытия. А снарядов осталось немногим больше сотни. И день хоть далеко зашел за половину, но до вечера еще глаза вытарашить.

Генерал-лейтенант Болдин, заложив руки за спину, медленно идет вдоль сдвинутых деревянных, добела выскобленных столов, на которых расстелена карта, угрюмо поглядывая на синие и красные стрелы, на цифры и знаки, то густо, то редко раскинувшиеся на блекло-голубом полотнище. Полчаса-час назад эти цифры выкрикивали далекие хриплые возбужденные голоса. Они пробились по перебитым во многих местах осколками и снова скрепленным человеческими руками проводам. Где-то рядом с наспех скрученными медными проволочками лежат связисты, жизнь отдавшие за то, чтобы цифры эти вовремя легли на карту.

Даже освобожденные от эмоций, отлившиеся в привычные бесстрастные формулировки боевых донесений слова и фразы людей, перебегающих там, в снежных полях, склоняющихся на миг к полевым телефонам, возбуждали командарма. В них все еще звучал лихорадочно бившийся в наушниках пульс боя. А на столе лежала

карта, где все это, словно вылитое из расплавленного металла, застывало теперь, охлаждалось, но все еще по-прежнему обжигало.

Яркий электрический свет, такой непривычный для деревенской утвари, сдвинутых со своих извечных мест широких лавок, кадушек, для почерневших от времени бревен, подчеркивал нездешность и праздничность генеральских и полковничьих мундиров. Только лица людей, одетых в эти мундиры, продубленные морозом и ветрами, были сродни вытертым до коричневого блеска, изрезанным глубокими шрамами лавкам, столам, всему, что было в деревенской избе.

— Итог дня неутешителен, — остановился наконец командарм. — Сделали больше, чем могли, больше, чем в силах человеческих, но меньше, чем рассчитывали.

Он помедлил, слушая взволнованные голоса своих помощников, и поморщился: все это он знал. И то, что по своим боевым возможностям состав армейских соединений не соответствовал поставленной задаче. И то, что начертание переднего края делало маловероятным успех предпринятого наступления. Все это было известно задолго до того, как приказ двинул войска вперед. Но с самого начала войны, целых восемь месяцев, проклятых этих месяцев, он наступал и отступал, никогда не имея под рукой средств, хотя бы равных тем, какими располагал противник. Ему доводилось прорываться из окружения, командуя соединением, по численности не превышающим полк, приходилось с ротой ходить в атаку. А рядом, заходясь в неистовом «ур-р-р-а!», бежали со штыками наперевес люди и с лейтенантскими «кубарями», и с генеральскими звездами в петлицах, и с полковничьими шпалами... Он-то вырвался, вывел сколько мог. А те, что навек остались зарытыми в белорусских лесах, да они бы счастливы были, если б имели столько сил, чтоб хоть деревню вырвать навсегда из рук врага. Вырвать и не отдать. Никогда. Счастье, безумное

счастье, им не улыбнувшееся. Ему же надо освободить город. Маленький. Не на каждой карте найдешь. Но их пока всего-то два десятка родных городов, отбитых у противника.

— Приступим... — садится командарм на подвернутую табуретку. — Что у Глушкова?

— Глушков убит, — слышит он в ответ. — Дивизию принял начальник штаба майор Страх.

Боль, полоснувшую разом, горло, сжатое спазмой, никто не должен видеть.

— Бомба? Снаряд? — поднял он тоскующие глаза на начальника штаба. — Где?

— Пулемет... — качнул тот головою. — Под деревней Проходы.

Кому расскажешь, что трое суток назад ты сам провёл на карте Михаила Глушкова красную стрелу через деревню Проходы, сам обозначил место, где старому другу придется отдать жизнь. Командир дивизии, а пулей, пулей убит, словно взводный или ротный... Кровью пишутся по земле прочерченные на картах красные генеральские стрелы.

— Что с десантом тысяча сто пятьдесят четвертого полка на Варшавском шоссе? — стирает он рукою боль с лица. Горевать он будет потом, потом, сейчас он только командарм.

Десант все еще удерживает шоссе. Невероятно, не-



Командир стрелкового батальона 1154-го полка капитан Кабилов. Убит под Рославлем в сентябре 1943 г. Снимок 1943 г.

возможно, но немцы еще не сбили полк с Варшавки, как ее все тут называют.

— Конечно, если б не Константин Николаевич, — генерал Болдин благодарно взглянул на невысокого артиллерийского генерала, — если б он не закрыл огнем шоссе от Адамовки до двести сорок восьмого километра...

И обрывает себя:

— Какой расход снарядов?

А узнав, сокрушенно крутит головой, словно воротник кителя режет шею: на завтрашний день еще так-сяк, еще хватит, а послезавтра, а через три дня, а если противник перейдет в наступление?

— Не перейдет? — угрюмо смотрит он на сказавшего эти слова начальника разведывательного отдела. — Уверены? Нигде не обнаружили группировку немцев, изготовившуюся для удара?

Он знает все сам. Помнит каждый немецкий полк вдоль фронта четвертой полевой и на всю его глубину. Ему обо всем докладывают ежечасно. Но война есть война. Час назад не знали, не нашли, не разглядели, а пять минут назад могла прорваться радиоволна, принесли донесение, которое все перевернет.

Начальник штаба забирается карандашом в глубь немецкого расположения на карте. Кавалерийский корпус генерала Белова пробивает из немецкого тыла дорогу к Варшавке. Кавалеристы дерутся под Милятином, под Спас-Деменском. От Вязьмы до Зайцевой горы горит тыл немецкой четвертой полевой. Парашютисты четвертого воздушно-десантного корпуса, отдельные части тридцать третьей армии, оставшиеся у немцев в тылу, партизанские отряды — все отвлекают на себя целые дивизии фон Клюге. Никто не доносит о немецкой группировке для наступления. Еще бы людей, боеприпасов, техники — и вся четвертая полевая была бы окружена. От

Вязьмы до Юхнова. От Юхнова до Зайцевой горы. Та-ким и был приказ командующего фронтом.

— Будем реалистами, — останавливается командарм.

Немцы под Юхновом, к утру двадцать четвертого ушли с командных высот, ушли из Чеберей, Сулихова, Чернева — из тридцати двух деревень, за которые плачено большой кровью. Сами ушли, прикрывшись слабыми за-слонами. Движение по Варшавскому шоссе только на за-пад от Юхнова.

— Не нравится фрицу, — роняет кто-то, — не при-выкли воевать в окружении.

Эх, если б окружение. На карте-то оно вроде бы и так. Вроде бы вот-вот сомкнется кольцо. Но командарм видит не карту. Перед его мысленным взором проходят за шоссе эскадроны на голодных, отощавших конях, па-рашютисты, утомленные многодневными боями. И всю-ду их втрое, вчетверо меньше, чем гитлеровцев.

— Есть уверенность, что Белов пробьется к Людко-во или Зайцевой горе? — спрашивает генерал, заранее зная, что нет такой уверенности, хотя немцы уже отхо-дят из-под Юхнова.

— Что ж, если десант тысяча сто пятьдесят четвер-того немцы не собьют двадцать четвертого, — задумы-вается командарм, — если...

Член военного совета армии прерывает поток тре-вожных раздумий и докладов. По политдонесениям ко-миссаров в наступающих войсках за одни сутки произо-шел перелом. И это после месяца неудачных попыток прорваться к Юхнову, после тяжелейших потерь. Всюду с волнением вслушиваются, как гремит и разрастается канонада в тылу у немцев, говорят, что надо торопиться на выручку...

— Понимают, почему так резко усиливается огонь? — кивая головой, будто бы соглашаясь, хмуро спрашивает командарм.

— Понимают, понимают, у наших в немецком тылу

снарядов в обрез, ими не покидаешься. Это немцы, оказавшись в угрожающем положении, лупят шквальным огнем, сняв его из-под Юхнова. Бойцы умом и сердцем откаликаются, верят, что теперь возьмут.

— Да, да, — постукивает командарм карандашом по Варшавке у деревни Людково, — если оседлавший шоссе полк продержится еще день, обстановка может для противника стать катастрофической.

Карандаш упирается в Зайцеву гору, ползет в сторону Вязьмы. Если... если... если... Стоп. Дальше уже полоса другой армии.

— Приказ подготовлен? — отрывается наконец командарм от карты.

Начальник штаба вынимает из папки несколько аккуратно отпечатанных листочков. И командарм берет их — чистенькие, белые, с ровными строчками, и долго смотрит, словно сквозь них. Там нет никаких «если». Там тысяча сто пятьдесят четвертый полк все еще полк, а не три или меньше сотни штыков, щетинящихся вдоль Варшавского шоссе. Там конница Белова прорывается к шоссе, четвертый воздушно-десантный корпус перехватывает узлы дорог, выбивает немецкие гарнизоны, партизанский отряд «дедушки» выходит из леса и бьет...

Резко вычеркнув десяток строк и вписав два десятка слов, он подписывает приказ и с силой бросает на стол карандаш.

Юхнов должен быть взят.

Солнце наконец-то ушло. Опустилось за Адамовку. В глаза не бьет. Тени расплылись, все вокруг потемнело, начало терять очертания. Ярче стали только вспышки разрывов. Недавно тусклые, желтоватые, едва видные в дыму при вечернем приглушенном солнечном свете, теперь они ослепительны среди не синеватого уже, а темно-серого вокруг снега.

Хорошее было в старину правило у артиллерии: не

вижу — не стреляю. Стреляют немцы. Вслепую, но стреляют. По шоссе попадают изредка, но вокруг кладут снаряд за снарядом, больше попадают по трупам немецких солдат от Адамовки до мостика.

Не тот, конечно, гром, что был здесь днем или даже час-другой назад. И авиации больше в небе нет. И немецкая пехота отвязалась на время, не лезет на огневую, отпятилась за Адамовку. Но бой есть бой. Вслепую летят снаряды, наугад, а задевают и живых, рвут людей, красят кровью белые маскхалаты.

Попробовал Железняков подсчитать немецкие разрывы, получилось, что вблизи не реже чем каждые четверть часа. А справа, слева и с запада в быстро темнеющем небе все ярче трассы пулеметных очередей. Хорошо хоть теперь и не часто, и издали бьют, и мимо, мимо. Такая вот она теперь здесь, как солдаты считают, тишина.

А за два километра отсюда, за спиною, хоть и глуше, но сплошь, слитно режут пулеметы, грохают мины, расплескивая пламя позади бугров, скрывших полк, бьющийся за Людково. Там ворочается незаконченный бой.

Накатывающаяся вечерняя тьма кажется еще гуще от огней, вспыхивающих и затухающих среди сожженной за мостиком немецкой колонны. Ветер сносит меж тлеющих машин вниз, в ложину, то искры, то полосы огня. Сливаются они в ручьи, то замедленно, то быстро плывущие под уклон. И среди темной громады колонны все еще нет-нет да взрывается что-то, трещат ружейные патроны, до которых ползком добрался огонь, что-то шевелится, что-то заслоняет огни, кажется живым, но тревога быстро рассеивается: там в колонне ничего живого нет, все мертво, даже то, что шевелится при порывах ветра.

Часа не прошло, как отбился полковой арьергард от напозавших со всех сторон фашистов. Двое совсем

вплотную подобралась, три их гранаты через огневую перелетели и там, позади, разорвались. Но всадил им лейтенант снаряд прямо в ноги, не пожалел на двоих снаряда, валяются теперь один головой к шоссе, другой к Адамовке.

Неспешно и спокойно переговариваются трое усталых артиллеристов, сидя на пушечной станине, уронив меж широко расставленных ног натруженные руки. Тлеют огоньки самокруток. Покуривают солдаты, сплевывают густую слюну, утирают шапками мокрые, мороза не чувствующие, распаренные лица. Скупко фроняют слова, больше слушают, внимательно слушают скрытый темнотой и расстоянием бой.

Устали — сил нет. Силы оживить может только смерть. Если опять вынырнет рядом. А пока она далеко — километра за полтора-два отсюда, ни рукой ни ногой шевелить не охота: как-никак часов двенадцать непрерывно в ближнем бою, все время на грани рукопашной, набегаешься тут на позиции, руками намахаешься, гранаты кидай.

Не унимается только Нестеров. То одного подначивает, то другого. Тем огрызнуться лень, язык не ворочается, а у Нестерова он всегда наготове, всегда на полном боевом.

— Ты, Мишка, куда снаряды кидал? — вяжется он к орудию командиру. — Ты, балда, целый ящик по одному поганому пулемету расстрелял. Лейтенант за наводчика встал, как даст, как даст: один снаряд — пулемет, танк подошел — тоже один снаряд. На нас бы на всех завтра похоронные писали б, если б не он...

Железняков, навалившись грудью на броневой щит орудия, свесил за него усталые руки, вглядывается во тьму, слушает в пол-уха солдатские байки. Очень хочется, чтобы канонада из-под Юхнова переместилась поближе, чтобы наступающие вплотную подошли оттуда к Людкову, зажали бы с десантом вместе их с двух сторон.

Но никто в орудийном расчете не станет себя обманывать: опытные уже, обстрелянные люди. Пушки у Юхнова бьют на старых местах и наши, и немецкие. А вот справа, за шоссе, творится что-то непонятное. Километров за пятнадцать — двадцать отсюда, в глубоком немецком тылу возник и не смолкает тяжелый гуд. Днем думали — бомбежка. Радовались: ну, дают наши фрицу. Потом, когда затянулось надолго, поняли: не то. Но кто бы не стрелял, все равно хорошо: нет немцу и там покоя, не дает ему что-то вздохнуть посвободнее.

Откуда знать огневому взводу, откуда знать полку, что пальба эта с севера могла бы быть их судьбой, что там, а не только здесь и под Юхновом, должен решиться вопрос о жизни или смерти четвертой немецкой полевой армии. Там кавалерийский и воздушно-десантный корпус должны были замкнуть вокруг нее кольцо от Варшавки до Вязьмы. Но сил не хватило даже на то, чтобы кавалеристы пробились хоть сюда, к тысяча сто пятьдесят четвертому на Варшавку. У них в полках гвардейских кавалерийских дивизий осталось уже в строю всего человек по двадцать.

Сил не хватило, и главным вместо огромной по замыслу операции теперь становился районный центр Юхнов — последний наш российский город, вырванный из цепких немецких рук в московском контрнаступлении.

Ветерок доносит от дотлевающей колонны запахи горелой резины, сукна и еще какой-то тяжелый смрад. Среди этих уже привычных, неистребимых запахов войны, что-то тревожно знакомое и забытое задело вдруг обоняние. Железняков раз, и другой, и третий втянул в себя воздух. Нет, не понять. Повернул голову влево, откуда тянуло раздражающе тревожным запахом. Нет, ничего не прибавилось.

— Комбат, — тронул его за плечо старшина Елишин. — Нестеров зовет. Ужинать.

Вот это да! Железняков непонимающе уставился на

командира орудия. Ужинать? Даже слово это начисто выветрилось из памяти. Полминуты, наверное, сообразил, что оно должно значить. И скорее угадав, чем поняв, засмеялся: вот он что за тревоживший его запах — картошкой пахло, жареной! Не порохом, не кровью — картошкой.

И тут же озлился, пытаюсь вспомнить: ели ли его артиллеристы с утра хоть что-нибудь. Хорош командир, хорош! Даже мысли не появилось о том, что надо накормить расчет. Самому, кажется, кто-то раза два-три совал в руку то колбасы кусок, то хлеба. Ел, не понимая, что делает, не отрываясь от пушки. Ром пил трофейный. Другие, вспомнил, тоже пили. Но ни опьянения, ни голода, ни сытости — ничего не было в ощущениях. Только бой. Только цели, по которым надо стрелять. Только близкий и далекий гул пальбы, по которой надо ориентироваться, в которой вся жизнь.

Шагах в двадцати от орудия, в расширенном начале снежной траншеи, зигзагом уходящей за жювет, Нестеров, приладив над небольшим костерком огромную сковороду, ворочает на ней немецким плоским штыком картошку. И нарезанное кусками сало. И колбасу. На раскаленной сковороде все даже подпрыгивает в кипящем жире. А рядом угнездились в огне солдатские котелки. Булькает что-то, пар мешается с дымом.

— Откуда сковорода? — удивляется Железняков. — Картошка откуда?

— А вы машину утром у фрица подбили, — загораживая рукавицей от брызгающего раскаленным салом жарева, повернул к нему снизу раскрасневшееся лицо Нестеров, — там у него целый кооператив был, ларек...

Есть, оказывается, хочется и в бою. И Железняков ест, поглядывая, как деловито, не торопясь, не толкаясь, скребут ложками по сковороде все собравшиеся к нестеровскому костерку.

«Одной сковороды хватает теперь на целую роту», —

тревожно и независимо от самого Железнякова отмечается где-то в глубине сознания. И он, оставив еду, новому оглядывает солдат. Едят. Медленно, неторопливо, устало. А рядом, в двух шагах, в трех, в траншее и за бруствером такие же белые жули. Только неподвижные. Лежат, сидят, застыли, как бежали, как жили в последний миг — десантники, погибшие в этот день.

Ротный командир утром командовал взводом. Сейчас с ним вместе у костра пятеро. А утром их было... Можно подсчитать, сколько их было утром — все здесь, никто никуда не ушел, лежат убитыми на поле боя.

А живые едят. Живым надо есть.

Они одни среди мертвых товарищей. Одни среди мертвых врагов. Одни среди огромного поля под сотнями, под тысячами вражьих взглядов.

Не идет в рот еда девятнадцатилетнему ротному. Ротный не ест. Бледный даже в красных бликах костра, глядит он в поле, где попеременно с убитыми немцами лежат все те, с кем сегодня утром он так весело спрыгнул с танка на шоссе в тылу у противника и оседлал его. Все — и живые, и мертвые.

— Артиллерист! — вдруг горячечной скороговоркой зачастил он. — Что же с нами будет ночью-то, артиллерист? Нас же здесь как кур передушат.

— Спать не будем — не передушат! — не задумываясь бросает Железняков.

Ему уже приходилось отвечать на этот вопрос. Сначала самому себе. Потом орудийному расчету. Но было это днем. Когда он еще рассчитывал, что в прикрытии у них хоть и не полная, поредевшая, но все-таки рота. Не знал он тогда, что к ночи весь арьергард полка сможет угнездиться вокруг одной сковороды.

Быстро ответил. Еще и потому быстро, что правоты не чувствовал, правды в ответе не было. Когда правды нет, то чаще всего ее заменяют быстротой, внешней уверенностью в правоте, чем-нибудь, да заменяют.

— Костер надо гасить, — решает Железняков, — а ты как в театре на сцене выставились тут все у огня, а зрителей в темноте на каждого найдется сотня.

«Но немцы тоже должны опасаться, — подумалось вслед за этим. — Не могут же они рассчитывать, что мы все здесь. Надо бы убитых сложить как-нибудь, чтоб их тоже опасались. И пусть доедут ребята, немного уж осталось. И воды горячей попьют».

— Ротный! Это твои у мостика? — заметив там какие-то фигуры в маскхалатах, с надеждой спрашивает Железняков. Вдруг он ошибся? Вдруг кто-то еще тут жив?

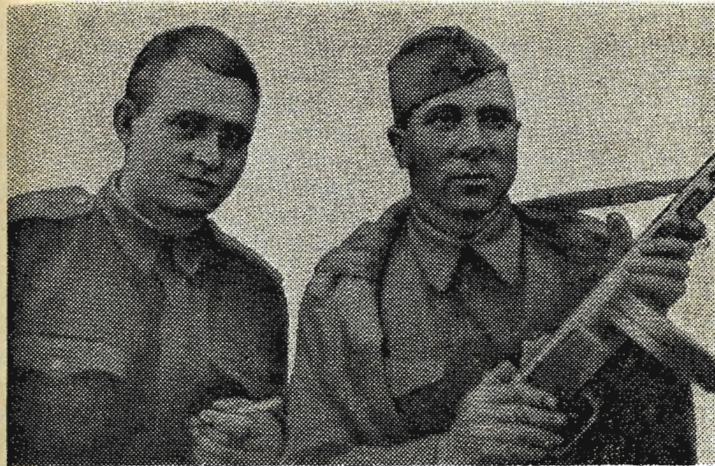
— Мои все тут, — угрюмо повел тот рукой вокруг по трупам десантников. — Это саперы, наверно. Должны же его взорвать когда-нибудь, этот мост.

А через несколько секунд все определилось жестко и грозно. Бутылка, которую все еще держал в руке Железняков, дернулась, брызнула ромом и битым стеклом и заблестела острыми зубьями осколков в неярком свете роя разноцветных светлячков, замелькавших между окопом пехоты и оставленным оружием.

Двадцать шагов. Всего двадцать шагов. Но сделать нельзя ни одного. Между расчетом и огневой позицией море огня: хлещут трассирующими четыре немецких пулемета.

Какие-то ненужные мысли отвлекают Железнякова. Тупо разглядывая сверкающий ливень пуль, наглухо перекрывший двадцать шагов до орудия, он думает: «Неужели у немцев в пулеметных лентах одни только трассирующие патроны?» Если бы иначе — пунктиром обозначились бы пулеметные очереди, а тут сплошные огненные стрелы, полосы огня застыли как-будто в воздухе, все вокруг освещая. И прежде всего пушку, от которой отнесло свинцом всю снежную маскировку. Щит ее гудит, как наковальня под частым перезвоном молотков.

За спиною сквозь близкий рев пулеметов он скорее



С автоматом — политрук Иван Иванович Додонов. Под Ленно раненым был взят в плен. Участвовал в движении Сопротивления. Упоминается в книге Е. Воробьева «Земля, до востребования» как активный участник действий группы полковника Маневича.

угадывает, чем слышит, тяжкое дыхание трех своих солдат. А за шоссе только две винтовки и один автомат вспыхивают голубыми огнями у подножия толстых берез. Только трое отвечают немецким пулеметам, с которыми к мостику подобралось, видно, не меньше сотни фашистов.

Вот тебе и «спать не будем — не передуют». Не спали. Да и не придется, может быть, уже и никогда. Вот вот еще столько же пулеметов ударят из тьмы.

Спасти может только пушка!

— Лейтенант! — уловив его движение, строго и рассудительно сказал кто-то за спиной. — Не пройди, лейтенант! Убьют!

Если б не этот тревожный голос, может быть, он бы еще и помедлил, ожидая перерыва огня, опасаясь неминуемой гибели всех своих солдат.

— За мной! — взревел Железняков, прыгая в огонь. — За мной!

Он даже не оглянулся, но затылком, спиной ощутил движение позади себя — за ним шли все трое, все, с кем он почти сутки уже был одно целое, не просто слаженный орудийный расчет, а одно существо.

Пушечный щит прикрыл от пуль сразу троих.

А четвертый, Нестеров? Лейтенант, мгновенно уразумев, что его нет, развернулся обратно, ухватился за щит, чтоб оттолкнуться, выскочить туда, где под пулями остался четвертый, но Нестеров, ловкий Нестеров уже неуклюже перевалился через бруствер на огневую.

— Куда тебя? — рухнул к нему наземь Железняков.

— В бок, — угадал он по беззвучно шевельнувшимся губам. И еще угадал: — Бей, комбат, спасай!

Да, конечно же, он должен бить. Раненый, как и командир, видел, что еще минута-две и все сгинут, все, если пушка не вступит в дело. И отвернувшись от Нестерова, Железняков привычным быстрым механическим движением сдвинул вверх броневую защелку на щите и наклонился к прицелу.

Но в тот же миг прицела не стало. В лицо ему ударили брызги и осколки стекла: несколько пуль из десятков барабанивших по щиту влетело в открывшееся отверстие и снесло прицел с кронштейна.

Мгновенно натренированная рука спортсмена опустила броневую защелку. Другой он провел по лицу, ощущая глаза. Целы, это главное, порезы и ссадины ерунда.

— Лейтенант! — в ужасе хрипит кто-то. — Ранен?

— Пустяки! Царапина! — отмахивается он.

Но как же быть? Железняков бросается наземь, вжимается лицом в снег. И тот чернеет, то ли от крови, то ли от копоти. Кто-то тянется с бинтом. Но не до этого,

некогда, некогда. Высунувшись снизу из-под пушки, у самого колеса, Железняков рассматривает мостик, чувствуя, что пули, рикошетирующие от щита, сюда не достают, шлепаются далеко от его головы, не ближе чем за метр. Дотянувшись руками до поворотного и подъемного механизмов, вывернув голову чуть ли не под прямым углом, он крутит маховики, ведя орудийный ствол направо к крайнему немецкому пулемету.

Пушечный выстрел, грянувший в сорока сантиметрах от уха, даже не оглушает: не до него, он весь там, где в тот же миг встает яростный всплеск разрыва.

— Сна-а-а-ряд! — хрипит он.

И слово не договорив, слышит, как щелкает орудийный замок. Расчет работает, жив расчет! Один за другим кладет он, вбивает прямо снаряды вдоль мостика. Десять секунд — пять разрывов. Безукоризненно работает орудийный расчет.

И вот уже молчат все четыре пулемета. Конечно, он в них не попал. Может быть, кого-нибудь и задел, но не наверняка, нет, не наверняка. Однако снаряды, рвущиеся рядом, на мгновение вжали в снег немецких пулеметчиков. А это ему и надо было, одно лишь мгновение. Он уже на ногах — мастер спорта, командир огневого взвода, призер недавних училищных боевых стрельб. Бешеные глаза над щитом, руки на маховиках, ствол пушки как продолжение рук. Он словно кулаком бьет прямо в лицо левому пулеметному расчету. Пятьдесят метров расстояния. Не нужно ему тут никаких прицелов. Кажется, он даже кричит это вместе с какими-то другими словами. Четыре секунды. Четыре выстрела. Ни одного немецкого пулеметного расчета в живых.

Над мостиком ярко вспыхивает ракета, заливая все синеватым светом. А-а-а, вот они. Человек десять вместе. Снаряд! А эти? Эти уже бегут от мостика. Снаряд!

Железняков бьет и бьет, пока не гаснет свет. Но свет и не успевает погаснуть совсем. Вспыхивает вновь. Уже

не одна, три ракеты повисли в воздухе. А стрелять орудию уже некуда. Никто уже не движется у мостика.

Немцев вблизи опять нет. Откатились, расползлись, убралась восвосяси. Но и снарядов почти нет. И оружийного расчета тоже нет.

Убит пехотный лейтенант, сутки не прокомандовавший ротой. Трое стрелков осталось с ним на месте, отбивая последнюю атаку. Белыми кулями лежит вокруг орудия вся рота прикрытия. Уцелело в ней только два человека. Оба приползли на огневую, хотели остаться на ней с пушкарями. Видели, что почти все немецкие мины и пули стягивала она к себе. Но полегли в неравном бою все их товарищи, сразила смерть последнего их лейтенанта, а командир артиллерийского взвода в дыму и в огне все стрелял и стрелял из орудия, был жив и даже не ранен. И ни одного убитого не было в артиллерийском расчете. Здесь только двое ранено. Пустяк это в сравнении с косою смерти, день и ночь рубившей стрелков. Нынешнее хрупкое, ненадежное, случайное военное счастье, выпавшее на долю артиллеристов, казалось стрелкам щитом, охраняющим жизнь вернее чем броня, прикрывавшая их с запада. Очень хотелось всем остаться с расчетом счастливых. Еле удалось уговорить их уйти, опять залечь справа и слева от шоссе, чтоб не всем быть в одном месте, чтоб не угробило всех одною миной или гранатой. Каждому понятно, что одному сидеть в окопе страшнее. На кого ни глянь, кого ни тронь — холодные, неподвижные, кажется, и тебя зовут туда же, к себе, в небытие.

Огневая опять завалена гильзами по колено. Под их мелодичное позванивание идет последний нелегкий разговор.

— Хватит сил, Нестеров? — допытывается Железняков. — Не рухнешь по дороге? Мы надеяться должны, что ты дойдешь.

Часа два назад от полка к мостику приползал кто-то из штабных командиров. Лицо знакомое, а фамилия так и не вспомнилась. Попал тут в самую бучу, вместе со всеми кидал гранаты, подтаскивал снаряды, отбивал атаку за атакой. Уходя назад, взял себе четыре магазина к немецкому автомату. У артиллеристов их теперь навалом, каждому может хватить на четыре жизни, собрали на поле боя в тихие промежутки. В тихие! Смешно даже: где они тут тихие? Командир полка передал с ним из-под Людково благодарность своему арьергарду. Ни одного удара в спину не получил полк за весь этот тяжкий день.

— Если жив комбат-артиллерист, — напутствовал Кузнецов своего посланца, — а он жив, по огню чувствую, передай: помочь ему не могу, нечем, а продержаться прошу до утра. Прошу. Так и скажи. Не разрешаю до утра умирать! Тяжко нам будет.

Они держались. Но до утра далеко, а в темноте немцам ничего не стоит обойти орудие со всех сторон, потом осветить, сосчитать, каждого взять на прицел и... Не понять, почему они до сих пор этого не сделали. Конечно, бой есть бой. Противник всегда почти думает не так и не то, что ты сам о себе знаешь. Но не очень похоже это на немцев. И хотя они всегда в ночном бою слабее, все равно не похоже.

— Главное, чтобы ты дошел, сталевар. Чтоб передал: мы держимся только потому, наверное, что немцы принимают убитых за живых.

Железняков вглядывается в осунувшееся лицо солдата, близко наклоняется к нему, сняв перчатку, поглаживает. Не нравится он ему, очень не нравится. Рана у него вроде бы не тяжелая, парень он здоровый, крови потерял немного, но усталый, вялый какой-то весь. Это Нестеров-то, живчик и звонарь Нестеров. Дойдет ли? А нужно, чтобы дошел, чтобы командир полка знал, что без подмоги, если к орудию не пришлют человек два-

дцать хотя бы, на большее никто и не рассчитывает, им вчетвером тут если и удастся продержаться час-другой, то только случайно. Полку же здесь нужна непроходимая застава.

— Ты меня слышишь, Нестеров? — остановился вдруг Железняков и наклонился к самому лицу солдата. Похоже было, что тот потерял сознание.

Раненый с видимым усилием открыл глаза и вяло шевельнул рукой.

— Не пойду я, комбат. Куда мне. Пока я такой туда дойду, здесь вас всех постреляют. Не хочу. Вместе жили, вместе давай умирать. Тут я и лежачий пригужусь — десяток фрицев успокою, не меньше.

— Попов, — с досадой повернулся Нестеров к юному солдату, который единственный за весь этот чумовой день не оброс щетиной, как остальные, — придется тебе идти с ним вместе. Одному ему не дойти.

Совсем недавно Железнякову уже пришлось столкнуться с упрямством Попова. Юный и розовый мальчишка, чьи щеки, казалось, светились даже в темноте, стоял на своем, не отступая, как мореный дуб.

Когда в очередной раз на позиции не осталось ни одного снаряда, а обстановка накалилась так, что удержаться, казалось, невозможно, Железняков решил взорвать орудие и отходить. Приказал сделать связки гранат, чтобы ими подорвать орудие. Отбив очередную атаку, протянул назад руку за гранатами. И не получил гранат, рука оставалась пустой. А секунды шли. Мчались одна за другой проклятые секунды. И каждая могла привести на огневую лавину немцев.

— Долго мне ждать, Попов?

Солдат, не отвечая, зубами и руками затягивал какие-то узлы.

— Попов! Из-за тебя мы невредимым отдадим орудие фрицу! Живее, Попов!

— Счас, — не то промычал, не то прошепелявил тот. — Рука... Трудно вязать... Больно.

Две пули пробили левую руку Попова. Когда? Никто этого не заметил. Как успел он сам перевязаться, никого не попросив о помощи, ничем не показав в бою, что ранен? Щеки только уже не светились, опаленные боем.

Когда связки были готовы, они не потребовались.

Еще тогда лейтенант хотел послать его, раненого, в полк, за подмогой. Но встретил бешеный взрыв негодования.

— Я — комсорг батареи! — сверкал он глазами. — Я...

Пулеметы немцев бросили его в снег. Но лишь появилась возможность поднять голову, глаза Попова опять засияли бешенством.

— Я комсорг! Я только мертвый оставлю позицию. Только мертвый! Вы комсомолец. Вы не можете послать меня в тыл.

Железняков даже рассмеялся. Хорош тыл. Только что там был фронт. Это их пушка охраняла полк с тыла.

А Попов грызался, плакал, но не уходил. Так и не ушел. В возбуждении в первый час после ранения еще действовал, не обращая на рану внимания. Теперь сидел на пустом снаряжном ящике, осунувшийся и не розовый вовсе, а одного цвета с маскхалатом. Слушая командира, он прихватывал с бруствера снег и тер им лицо.

— Ребята, вы понимаете, что без подмоги всем нам амба? Понимаете, что только вдвоем вы дойдете. И вырубите всех — и нас, и полк!

Видно, сил на сопротивление у Попова и Нестерова уже не оставалось. Оба согласились. Да и обстановка не оставляла времени ни на раздумья, ни на сомнения. Оставшись с командиром, они могли только подороже отдать свою жизнь, убив еще по пять или шесть врагов. А кому они нужны, эти лишние шестеро. Их и так тут накрошили видимо-невидимо.



Группа командиров и политработников штаба 344-й дивизии. 1942 г. В центре сидит полковой комиссар Н. Н. Парашенко. Слева от него командир 1152-го стрелкового полка Алексей Маркович Осадчий, исполняющий обязанности командира 344-й дивизии.

— Вдвоем мы прорвемся, комбат. Вдвоем и вернемся! — заверил Нестеров, тяжело поднимаясь на ноги, прихватив два немецких автомата и засовывая за пояс магазины. — Жди нас с подмогой.

Уже прощаясь, Железняков подвел всех к срубленной пулеметным огнем березе, попросил выкопать возле нее ямку и выстелить ее шинелью.

— Какой шинелью, зачем? — удивился было Попов.

— С немца убитого сдери, бестолочь! — тут же окрысился Нестеров, к которому, казалось, вернулись силы. Он уже рыл яму.

Он сразу понял, чего хотел Железняков. Если придется оставить пушку, не взрывая, здесь, под березой, тот,

кто будет жив, уходя, зароем орудийный замок. Немцы не смогут стрелять из орудия.

Кто-нибудь из четверых да останется жив. Тот и выкопает потом замок из-под приметной березы.

Старшина Елишин отнял у Нестерова лопату.

— Давайте, ребята, двигайте. Мы здесь как-нибудь сами. Вы, главное, живыми дойдите.

Двое. На всей неоглядной земле только двое. Самые близкие, самые родные исчезли, только что, растворились в ночи, даже звука их шагов не слышать. Один только перезвон гильз, летящих за бруствер.

Справа за шоссе на постели из шинелей, снятых с убитых, прикрытый их же белыми маскхалатами последний еле живой пехотинец роты прикрытия с перебитыми ногами. Даже не просил о помощи. Просил только подтащить к нему побольше заряженных автоматов.

— Я, — прохрипел, — я им, гадам, перед смертью...

Нет-нет да и пыхнет там, под березой, запульсирует голубой огонек, простучит короткая в три-четыре патрона очередь. Не по немцам: их вроде бы поблизости пока нет, но во вражескую сторону. Показывает раненый — жив я, ребята, жив, в сознании я пока...

Гильзы ли выкидывая, гранаты ли собирая у мертвых и автоматы, Железняков неотступно думает: что же это такое, почему за весь этот страшный день никто слова не сказал, не попросил о спасении? Вот все до одного они умерли — товарищи, однополчане, чьих лиц он уже и не помнит — солдаты, сержанты, лейтенанты. Неужели им не было жутко, неужели ненависть к врагу была у всех, у каждого сильнее страха смерти. Существует, что ли, какой-то странный гипноз действия, когда огромные физические нагрузки, бесконечная быстрота и смена физических движений перекрывают каналы движений душевных? И сам он, и Михаил Елишин, разве чувство-

вали они леденящий, обессиливающий ужас перед самым худшим, что может грозить человеку? Так было. Но может ли это быть? Не уродство ли это душевное, при котором не пугают ни своя, ни чужая смерть?

— Михаил! — окликнул он старшину. — Тебе не страшно?

Епишин, возившийся с немецким пулеметом, уставивший его в стороне, за баррикадой из окоченелых немецких трупов справа от огневой, устало прилег на бруствер.

— Ух, умаялся, — вытер он шапкой лицо. — Тяжелые, собаки, таскал их, таскал, сил нет, откормились тут на наших хлебах, пудов по шесть, не меньше, в каждом.

Внимательно и хмуро поглядев в лицо лейтенанту, он как-то криво усмехнулся.

— Ну ты спросил, командир! Я-то сам себя зажал, не позволял бередить душу. Да и некогда было пугаться в этой суматохе. С жизнью-то я еще когда на танки садились простился. Да и чем мы лучше других?

Привстав, он широким взмахом руки охватил всех, кто безмолвно лежал под березами, на шоссе, на холмах. И, считая, вероятно, что больше говорить тут не о чем, пригнувшись, ушел к пулемету.

«Вот он, народный характер, — думал потом Железняков, рассовывая гранаты на огневой позиции так, чтобы удобнее было ими отбиваться. — Вот он, тяжело, невыносимо, но коль все так, то и ты, коль все в драке, то и тебе нельзя быть в сторонке. Коль выхода нет, помолчи, не бреди душу без пользы, делом займись, полегчает».

Он опять вслушивался в артиллерийскую пальбу под Юхновом. Не смолкает, усиливается — уже хорошо. И кажется, ближе стало. Точно — ближе. Если не ошибся — отлично это. И на севере бьют. И тоже ближе. Вот бы... Но ни к чему пустые мечты. Ни к чему. Двое их. Двое на всем свете. Ни от Юхнова, ни с севера к ним

двоим никому не успеть: они сами, только сами держат в руках свою судьбу. И пока живы — и полка тоже.

Поставив Епишина к орудию, Железняков ушел в поле, двинулся по следам танков, выходивших тут к Варшавке, пытаясь рядом с ними отыскать во тьме, в глубоком снегу снаряды, которые артиллеристы, рассовав утром на исходном рубеже на Красной Горе по всем танкам бригады, просили сбросить возле шоссе. В каждую вмятину в снегу совал лейтенант подобранный где-то шест, в каждую снежную яму нырял. Нет ничего. И только уже возвращаясь, у самого края следа танковой гусеницы наступил на размочаленный с угла ящик. С трудом вывернув вдавленный в снег ящик, он даже лег на него. И устал, и удача обессилила. Повезло-то как! Сразу вдвое больше стало у них снарядов, больше шансов отбиться в следующей атаке.

На огневой Епишин, сломав топором крышку ящика: покореженные замки его не действовали, с любопытством уставился на странные снаряды, которые так радостно приволок лейтенант.

— Это что, химические, что ли? — хмыкнул он. — Или с листовками? Во, поагитируем фрица!

Железняков тоже никогда не видел таких снарядов. Черные, длиннее фугасных и осколочных. И без взрывателей. У нескольких не то что взрывателей — ничего нет, пусто, трубки просто, пустые железные трубки. Чертовщина какая-то.

Пошарив руками по дну ящика — может инструкция какая завалылась, — Епишин вытащил горсть металлических шариков. Не то дробь, не то шарикоподшипники.

— Да это же картечь! — вдруг заорал Железняков. — Картечь! Ура!

Картечь. Страшное оружие ближнего боя обороняющихся батарей. Еще с прошлого века. Выстрел — и чуть ли не от самого ствола снаряд швыряет в лицо наступающим тучу свинцовых пуль. Пятьсот — шестьсот таких

шариков на десять, а то и двадцать метров по фронту сметают с земли все живое.

У противотанковых пушек, у сорокапятков, картечи раньше не было. Но нашелся хороший человек — изобрел и для них. Упрощенную, без взрывателей, но вот она, есть, спасительница-картечь.

Правда, железные кружочки, которыми вместо взрывателей были закрыты и какой-то смолой или варом заклеены картечные снаряды, у некоторых из них выпали. То ли от тряски на танке, от ударов ящика о броню, то ли еще от чего-то, но вся картечь, все шарики из них высыпались, теперь это пустые трубки. Но шесть целых и невредимых картечных выстрелов — царский подарок.

Давно ушли к Людкову Нестеров и Попов, давно. Пора бы быть подмоге. Давно пора. Но теперь ей уже не успеть. Опять одно только одинокое орудие должно принять на себя все, что с запада посылает враг на весь десант, седлающий Варшавское шоссе.

За дорогой забился, заклокотал длинными очередями автомат пехотинца. До последнего, до самого последнего солдата билась и бьется рота прикрытия. Полоснул снопом трассирующих и Епишин из немецкого пулемета. Освещенные его пулями смутно замаячили у оврага выполняющие оттуда белые фигуры. Но стоило ударить орудие — все движение там прекратилось. Епишин с пулеметом в руке перемахнул через шоссе, дал оттуда две очереди и успел вернуться на огневую до того, как вспыхнула над мостиком первая ракета. Передышка кончилась.

— Умер парень! Все. Вот его автоматы, — бросил старшина наземь груды немецкого оружия. — Конец, комбат. Там их видимо-невидимо. От мертвого пехотинца виден подход к мостику по ложине. Рота туда прошла, не меньше.

В свете ракеты, вырвавшейся из-под мостика, видно, как из ложины лезут наверх десятки и десятки белых

балахонов и зеленоватых шинелей. Идут неуклюже: снег глубок. А на шоссе не выходят: пулемет Епишина сбивает с него каждого.

Чуть подрагивает орудийный ствол. Подрагивают на маховиках руки Железнякова, и чуть-чуть смещается орудийный ствол, словно живой, словно тоже приглядывается к цели покрупнее.

Немцев все больше. Это подходит смерть. А Железнякову кажется, что все это происходит не с ним, а с кем-то посторонним, во сне, словно не на него сейчас бросятся, не его, не Витьку из Мажорова переулка будут сейчас рвать на части осатанелые солдаты, тоже мстящие за своих, погибших у мостика на двести сорок восьмом километре.

Сейчас. Сейчас он расстреляет последние снаряды. Все оговорено, обо всем они уже раз десять толковали. Епишин прикроет его минуты на три пулеметным огнем, и они потом, зарыв под березой орудийный замок, уйдут, убегут влево за шоссе, растворятся в ночи, добегут, коль повезет, до полка, сообщат, что арьергарда больше нет.

Теперь ему уже не кажется, что это сон. Нервно подергивается веко, что-то холодное, скользкое бьется в груди. Хочется глаза закрыть, отвернуться, не видеть. И нельзя, нельзя: только ты сам, только сам решаешь ты сейчас, кому здесь жить и кому умирать на Варшавском шоссе.

Новые ракеты взмывают вверх. Прямо на виду немецкие офицеры сбивают группу для атаки.

— Не бояться, соб-баки! — злится старшина.

— Знают уже, что никого тут больше нет, — нервно соглашается лейтенант.

А снарядов всего тринадцать штук. Семь осколочных, шесть картечных.

— Почему они не стреляют? — нервничает Железняков. — Чего ждут, что задумали?

Гитлеровцы пока еще лежат на краю лощины. Опасаются. И пулемет Епишина их держит тоже. Но поднимутся скоро, обязательно поднимутся. И Железняков ждет: если не угадать миг, в который снаряды могут остановиться, сорвать атаку, то эта толпа, хлынув из лощины, задавит их тут, сама не заметив этого.

Нервно дрожащие пальцы, кажется, сами по себе, независимо от лейтенанта рванули рукоятку затвора. Руки перехватили выброшенный экстрактором осколочный снаряд и бросили в казенник картечь. Первыми он выпалит снаряды, которые не снаряды, а трубки железные. Так его неожиданно осенило. Для лишнего шума. Все как-никак пушечные выстрелы.

Ну, вот он, решающий миг! Епишин, бросив на месте пулемет, одним скачком перелетает к орудию.

— Заряжай! — орет Железняков. — Пустой картечью заряжай!

И жмет на спусковую кнопку. А где-то в глубине мозг, отвлекаясь от страшной обстановки, тянет его к улыбки. Надо же придумать команду: «Пустой картечью заряжай!» Впервые, наверно, в артиллерии.

Прямо в лоб поднявшимся с боевым ревом немцам, прямо в разинутые в крике глотки.

— Глотай, фриц! Лови! — вопит Епишин, кидая снаряд за снарядом в казенник.

И бешеный вой наступающих вдруг обрывается. Они уже не бегут, застыли на месте. Это сделали не пушечные выстрелы, нет. Их они ждали, на них шли, с ними смирились. Толпа — уже толпа, а не боевой строй атаки — молча, но как по команде крутит головами вправо, вверх, вниз. Многие присели, многие ткнулись лицом в снег.

Железняков с Епишиным тоже пригнулись от неожиданности. Однако от фашистов глаз не отрывают.

Какой-то свирепый визг, что-то неожиданное, страшное, вроде бы рев пикирующих бомбардировщиков, вро-

де бы гул множества снарядов. Но не только сверху, откуда всегда приходит смерть. Снизу почему-то, сбоку, отовсюду.

Немцы сами стоят. Значит, это не их новости, не они грозят этим визгом, не они ударили чем-то новым, догадываются артиллеристы.

— Да это же наши пустые снаряды, пустые снаряды бьются о березы, — осеняет Железнякова. — Стаканы это воют на рикошетах. Мишка! Картечь!

И в грудь, и в лицо, в живот застывшей гитлеровской лавине сотнями свинцовых картечин хлестнуло одинокое орудие.

Вопль одним разом сраженных и умирающих врагов был так же дик и рвал душу, как и тот, что утром неся из горевшей колонны, накрытой сосредоточенным огнем батареей генерала Леселидзе.

Трудно придумать что-нибудь ужаснее воющей и плачущей тьмы. Тьмы, вопящей истошными чужими головами.

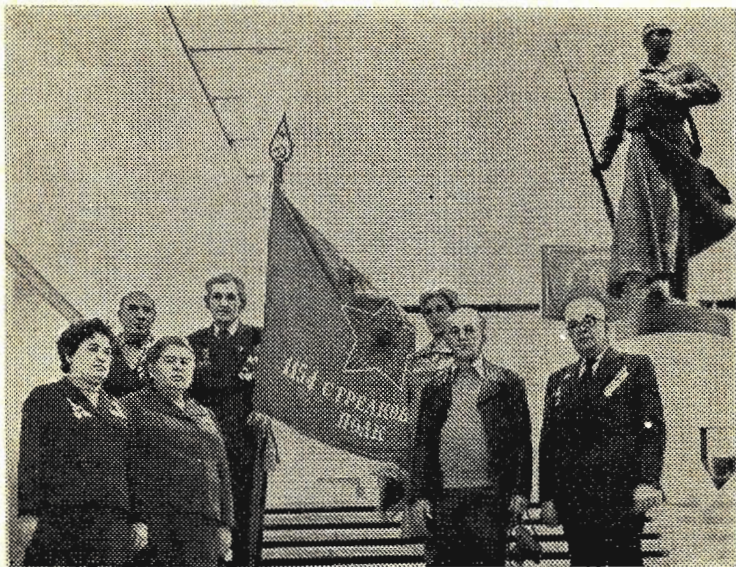
Ни одной ракеты, ни выстрела, ни огонька. Только стон леса, земли, голос неугасимой боли.

Картечь! Страшное оружие обороняющихся батарей! Не приведи судьба еще раз увидеть ее в деле.

— А-а-а! Не нравится, фриц! А-а-а! Растоптали вы нас? Нате, гады! Нате! Жрите!

Кто кричит это? Кто стреляет? Не понять. Мелькают на позиции четыре руки. Мечутся четыре ноги. Зло сверкает орудие, доколачивая последние снаряды, вбивая их в любое угрожающее шевеление там, у мостика.

Это не люди. Это не пушка. Это не сдается, рычит, пульсирует, живет и жжет единый нервный сплав, один клокочущий комок самой войны. И нет у него сочувствия к чужому страданию. И жалости нет. Даже если не со злорадством, то с удовлетворением вслушивается он в несущиеся из тьмы голоса мучающихся людей. Ему жаль не тех, кто вопит и просит о помощи. Жаль тех, кому уже



У знамени 1154-го стрелкового полка в Центральном музее Советской Армии. 23 февраля 1982 г. В первом ряду (слева направо): бывшая разведчица отдельной разведроты 344-й дивизии Анна Никитична Карасенко, лейтенант медицинской службы 1154-го полка Клавдия Владимировна Иванец, автор книги Юрий Викторович Туманов, старшина стрелкового батальона Иван Игнатьевич Карасенко. Во втором ряду: бывший командир стрелкового батальона Василий Семенов, бывший командир стрелковой роты Владимир Моматюк, бывший командир санитарного взвода 1154-го полка лейтенант медицинской службы Наталья Меркулова.

не помочь, кто молчит, тех, кому пришлось навсегда остаться здесь, на Варшавском шоссе. Так жаль, что только справедливость, ничего, кроме ощущения справедливости, полного расчета с неприятелем, не испытывали ошалевшие в иступленном бою юные артиллеристы. Да юности и вообще не свойственно сочувствие к врагу, да-

же мучающемуся, даже страдающему. Они шли убивать всех. Михаила Епишина, Виктора Железнякова — всех, кто окажется перед ними. Растоптав, разорвав, искромсав их, они пошли бы дальше, убивая их товарищей. Тысячи километров шли они по нашей земле, убивая, убивая и убивая. Да здравствует сразившая их на Варшавке картечь! Слава ей!

Так думают они. Так думает война. Нечеловеческая, жестокая война.

— Пойти, что ли, добить их, чтоб не мучились? — поднял с земли пулемет Епишин.

Все-таки опять в глубине дрогнуло у него что-то от голосов нестерпимой боли.

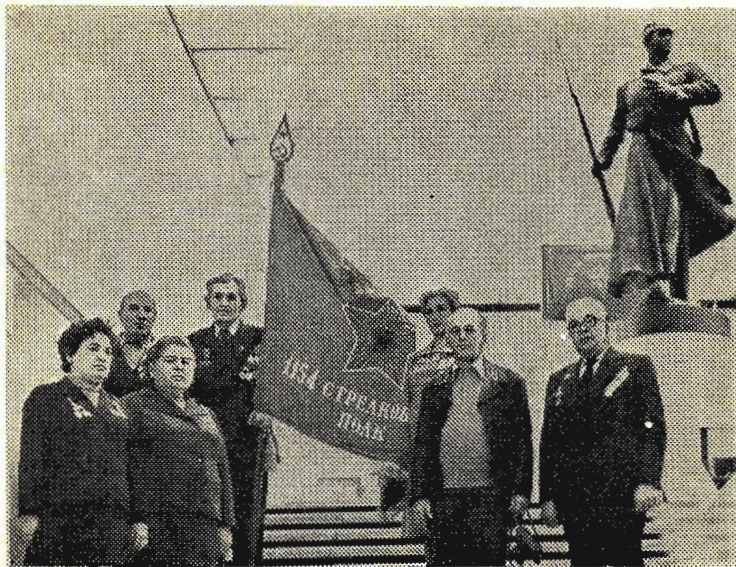
— Не смей! — остановил его Железняков. — Они бы тебя пожалели, как наших в Соловьевке, кишки бы намотали на березе. Да и пулю схватишь. Верную. Кто-нибудь да дотянется, успеет. И не вернешься. И я один. Не смей!

Четыре снаряда. Тремя удержать позицию. Хоть на час. Хоть на полчаса. Последним взорвать орудие. Реально это? И хотя все, что они делали сегодня здесь на шоссе, было нереально, но оно решалось, решалось не по арифметическим, а высшим, интегральным законам боя. А сейчас...

— Эх, не дошли ребята, — не выдержал наконец старшина. — Не дошли!

Полчаса уже перебирал в уме Железняков все варианты тех же мыслей и возможностей приближающейся последней, наверняка последней для них схватки. От ее начала до конца не могло быть больше тридцати минут. Меньше — могло быть. Сколько угодно. А больше — нет, не могло.

— Михаил! Теперь тебе идти в полк. Такая, брат, у нас с тобой доля! Иди, — обрадовавшись даже подсказанному решению, быстро обернулся он на вздох старшины.



У знамени 1154-го стрелкового полка в Центральном музее Советской Армии. 23 февраля 1982 г. В первом ряду (слева направо): бывшая разведчица отдельной разведроты 344-й дивизии Анна Никитична Карасенко, лейтенант медицинской службы 1154-го полка Клавдия Владимировна Иванец, автор книги Юрий Викторович Туманов, старшина стрелкового батальона Иван Игнатьевич Карасенко. Во втором ряду: бывший командир стрелкового батальона Василий Семенов, бывший командир стрелковой роты Владимир Моматюк, бывший командир санитарного взвода 1154-го полка лейтенант медицинской службы Наталья Меркулова.

не помочь, кто молчит, тех, кому пришлось навсегда остаться здесь, на Варшавском шоссе. Так жаль, что только справедливость, ничего, кроме ощущения справедливости, полного расчета с неприятелем, не испытывали ошалевшие в иступленном бою юные артиллеристы. Да юности и вообще не свойственно сочувствие к врагу, да-

же мучающемуся, даже страдающему. Они шли убивать всех. Михаила Елишина, Виктора Железнякова — всех, кто окажется перед ними. Расстоптав, разорвав, искромсав их, они пошли бы дальше, убивая их товарищей. Тысячи километров шли они по нашей земле, убивая, убивая и убивая. Да здравствует сразившая их на Варшавке картечь! Слава ей!

Так думают они. Так думает война. Нечеловеческая, жестокая война.

— Пойти, что ли, добить их, чтоб не мучились? — поднял с земли пулемет Елишин.

Все-таки опять в глубине дрогнуло у него что-то от голосов нестерпимой боли.

— Не смей! — остановил его Железняков. — Они бы тебя пожалели, как наших в Соловьевке, кишки бы намотали на березе. Да и пулю схватишь. Верную. Кто-нибудь да дотянется, успеет. И не вернешься. И я один. Не смей!

Четыре снаряда. Тремя удержать позицию. Хоть на час. Хоть на полчаса. Последним взорвать орудие. Реально это? И хотя все, что они делали сегодня здесь на шоссе, было нереально, но оно решалось, решалось не по арифметическим, а высшим, интегральным законам боя. А сейчас...

— Эх, не дошли ребята, — не выдержал наконец старшина. — Не дошли!

Полчаса уже перебирал в уме Железняков все варианты тех же мыслей и возможностей приближающейся последней, наверняка последней для них схватки. От ее начала до конца не могло быть больше тридцати минут. Меньше — могло быть. Сколько угодно. А больше — нет, не могло.

— Михаил! Теперь тебе идти в полк. Такая, брат, у нас с тобой доля! Иди, — обрадовавшись даже подсказанному решению, быстро обернулся он на вздох старшины.

Но Епишин, круто повернувшись, бешено возрился на командира.

— С ума сошел, комбат? Оставляю я тебя одного на верную смерть, как же!

Ушел старшина Епишин. Долго отнекивался, не соглашался, огрызался даже. Но, отбиваясь от натиска Железнякова, он понимал: полк должен знать про них, понимал, что придется ему идти, не миновать. Из-за этого и злился, и грубил, не представляя, как же жить ему потом, когда погибнет лейтенант, если оставить его одного на верную смерть. Что не уйдет лейтенант, будет стоять у орудия до конца, Епишин не сомневался ни секунды.

Отходил долго, оглядывался, медлил: надеялся, что повезет и фашисты ударят на пушку сейчас, пока он близко, а тогда обстановка вынудит вернуться, встать рядом с лейтенантом и быть с ним вместе, полностью разделить с ним его судьбу.

Что будет дальше, потом? А что будет, то и будет. Об этом пусть думают живые. Им с лейтенантом незачем об этом задумываться.

Правда, где-то глубоко-глубоко запрятанная, придавленная таилась все-таки надежда, что смерть и на этот раз обойдет их стороной, что повезет и здесь, как всегда до сих пор улыбалось им боевое счастье.

Оглянувшись в очередной раз, Епишин не увидел ни огневой позиции, ни лейтенанта. Тогда, выбравшись из снега на шоссе, он побежал по нему, стуча обледенелыми валенками. Бежать сил почти не было — набегался за день, но и шагом идти он себе не позволял, торопился, понимая, что каждую секунду за спиной могла загворить пушка. А четыре снаряда — это только четыре снаряда.

Дорога меж тем шла в гору, в гору, и дыхания еле хватало на быстрый шаг.

Епишин и раньше понимал, что день боя полку обещается дорого, очень дорого. Как-никак у мостика на двести сорок восьмом километре не главный наносился удар, не главная была для гитлеровцев опасность, а суеток не прошло — и только один человек остался там в живых, один среди трупов, своих и чужих, один в черноте ночи.

Оказавшись под Людковом, перебегая от одного снежного окопа к другому, ныряя меж сугробов, уклоняясь от пуль и разрывов, он и здесь видел убитых больше, чем живых. Мертвые танки, загородив шоссе, горели на западной окраине деревни, ярко освещенные и собственным пламенем и догорающими вокруг постройками. В глубине Людкова тоже полыхало несколько пожаров. Но целые группы домов оставались темны, сливались с чернотой ночи и выступали из нее только при свете ракет. Тогда же становились видны темные массивы деревень Лиханово и Алферьевской. Отовсюду били немецкие пулеметы. Отовсюду стреляли орудия. Хоть понять, в кого они стреляют, было трудно: справа и слева от шоссе у Лиханова и Алферьевской наших уже не было. Все они были у западной окраины деревни Людково, охватывая ее полукольцом.

Епишин еще не добрался до командного пункта капитана Кузнецова, когда из темного неосвещенного поля справа от деревни ударили ручные и станковые пулеметы, и розовые в далеких отсветах пламени пошли в атаку на центр деревни пехотинцы.

Сначала казалось, что атака удалась: так быстро одолели стрелки больше половины расстояния. Епишин с радостным удивлением смотрел, как, рассекая розовый снег, быстро сбегали под уклон широкого холма десятки розовых фигур, сверкая на бегу короткими острыми шипами выстрелов. Они почти добежали до первых домов.

Но от речки Серебрянки, лежащей подо льдом и снегом, последние сто метров к домам нужно было подыматься круто вверх. Тут атакующие пошли медленнее, еще медленнее и остановились, зарылись в снег вдоль изгибов русла Серебрянки. Остановишься, когда выдвинувшиеся из Лиханова немецкие танки прямо с шоссе меж деревьями загрохотали, забарабанили им во фланг всеми своими пушками и пулеметами. На целый артиллок хватило бы танковых пушек, стреляющих по единственной атакующей роте. И вся окраина Людкова тоже ошетирилась, бешеный гром раскатывался над речкой Серебрянкой.

А наши два последних танка вяло передвигались по шоссе за бугром, отгороженные от боя, не имея возможности поразить ни одной цели на шоссе от Лиханова к Людкову, бугор закрывал им собою все передвижения гитлеровцев у себя в тылу. Молчали их орудия, расстрелявшие за день почти весь свой боезапас.

Все труднее становилось двигаться Епишину: немцы из деревни били не только по наступающей роте, их огневые точки садили всюю и во все.

Атака захлебнулась, и Епишин, теперь только искоса поглядывая в сторону Серебрянки, упрямо перебежал под огнем от одного снежного окопа к другому, разыскивая единственного человека, который мог послать помощь его командиру.

В одном из окопов квадратный человек в изорванном почерневшем маскхалате смотрел в бинокль на залегшую роту. Она была видна отсюда вся до последнего человека и невооруженным глазом. Но квадратный человек упорно вглядывался через оптические стекла, разыскивая там что-то одному ему ведомое.

— Артиллерист? — вдруг круто повернулся он к Епишину. — Живой? А остальные?

Старшина узнавал и не узнавал человека, остановившего его. Как будто бы и видел он, и сегодня даже, эти

выпирающие квадратные скулы, это угловатое, все в ломаных прямых линиях лицо, но такое оно было закопченное, такое усталое, что не сходилось ни с чем в памяти.

— Товарищ политрук! — крикнул кто-то.

Квадратный человек обернулся на голос, и тут Епишин узнал: его остановил герой полка политрук Ненашкин, много раз помогавший батареям.

— Товарищ политрук! Товарищ политрук, — в надежде взмолился старшина. — Выручайте, товарищ политрук!

Суровые глаза опять повернувшегося к нему человека не пообещали ничего хорошего. Но все равно, захлебываясь в крике, Епишин выложил ему все, все, все. Он понимал, что здесь под Людковым люди вынесли не меньше, что смерть, рушившаяся на них отовсюду, была так же страшна, как и у них на двести сорок восьмом километре, но никто здесь, никто не понимал и не видел того, что стояло перед его глазами: одинокое орудие, затерянное в черной ночи, в суровой растерзанной мгле, и затянутая в маскхалат хрупкая тонкая фигура командира огневого взвода, его командира, одного, совсем одного среди трупов и мглы. И только четыре снаряда, только четыре.

— Подожди, артиллерист! — остановил его Ненашкин, успевавший и слушать, и наблюдать за немцами, и видеть все вокруг. — Смотри-ка, как фриц пристроился хитро.

Действительно, гитлеровец, закрытый пламенем горящего сарая от пулеметов, поддерживавших наступление роты, то и дело высовывался и бил. Пламя его очередей растворялось в пожарище. Но отсюда, от западного края, он весь прорисовывался на фоне серой стены. И это не прошло мимо внимания политрука.

— Ну-ка, Николай, придави его, — ткнул он в сторону рукавицей.

Николай в таком же закопченном маскхалате поднял снайперскую винтовку.

— Патронов мало, — покривился Ненашкин, — убитых теперь обираем. Пулеметов много, патронов мало. Корсунскому, — он качнул головой в сторону Серебрянки, — пришлось все пулеметные ленты отдать.

Политрук Корсунский, еще днем заменивший убитого командира роты, теперь ста шагов только не дошел с нею до окраины Людкова, вывел ее из-под удара танковых пушек, прикрывшись изгибом речного берега, и окапывался с солдатами, готовя их к новому броску.

— Атакуйте, Ненашкин! Отвлекайте немцев на себя!

Опять чье-то знакомое лицо увидел Епишин. А кто — не понять. Этого длинного лейтенанта доводилось видеть каждый день, но в сегодняшней ночи все как незнакомы.

Лейтенант, свалившись к ним в окоп, торопил:

— Капитан приказал. Корсунский сейчас подымет своих. Атакуйте! Отвлекайте.

— Ну, будь жив, артиллерист! — ткнул ему руку герой полка политрук Ненашкин. — Помочь пока не могу. Подавайся до капитана. После атаки поглядим.

Он вылез из окопа и грузно шагнул вперед, не пригибаясь, не оглядываясь, зная, что за ним идут все, кто жив.

— За Родину! — донесся до Епишина его гулкий, всюду слышный и среди бешеного огня голос. — Поможем нашим братьям, ребята!

Ребята, человек пятнадцать всего, все, что осталось за день от роты, вышли в розовое поле, в огонь, рванувшийся им навстречу, зашагали так же, как и он, устало, не стреляя и не ложась. Только Николай со снайперской винтовкой, забегая то справа, то слева от политрука, бил и бил, припадая время от времени на колени.

У капитана Кузнецова круглые бешеные глаза.

— Значит, теперь ждать немцев и от Адамовки!

Он мгновение подумал, отвернувшись от Епишина, перевода взгляд от роты Корсунского к роте Ненашкина, прикинул что-то и решил. В распоряжении старшины выделить семь солдат. Трое с немецкими автоматами. Четверо с винтовками.

— Больше не могу, — вздохнул он, хмуро усмехнувшись. — И так, считай, дал тебе целую роту. Командуй, ротный. И чтоб до утра продержался. Иди!

Они бежали за ним под гору, семеро неизвестных, на ходу выкрикивая свои имена. Чем дальше от Людкова, тем становилось темнее. За склоном холма тьма обступила их со всех сторон, и Епишин остановил свое войско, перестроил, чтобы не нарваться всем разом на один пулемет. Тут его обостренный слух уловил впереди глухой удар сорокапятки.

— Живой, — обрадовался он. — Живой наш лейтенант!

Орудие быстро, раз за разом, дохнуло еще три раза. Потом рванули гранаты. И тишина опять повисла над шоссе. Только теперь это была не тишина неизвестности, страшная была тишина.

Рота Епишина замерла, вытянув шеи, затаила дыхание. Ни крика, ни выстрела — ничего. Что же там произошло на огневой, что?

Старшина разделил свое войско надвое. Трое с автоматами ушли влево, в снега: им он приказал по добраться до окопа слева от орудия, залечь средиtrupов роты прикрытия и ждать сигнала. Четверо со штыками на винтовках пригнувшись пошли рядом с шоссе по кювету. С ними он будет атаковать гитлеровцев, захвативших уже, наверно, позицию. Будет атаковать, сколько бы врагов там не было.

— Стой! Кто идет? — вдруг всполошился один из стрелков. — Стой! Стреляю!

— В бога мать! — услышали из шелестящей шагами тьмы замершие стрелки.

— Комбат! — заорал Епишин. — Комбат! Дорогой мой! Жив! — Он, всхлипывая, обнимает надсадно хрипящего лейтенанта, хлопает его по спине, по плечам, тормозит, ощупывает, ища, не ранен ли тот.

Нет, он не ранен, его взводный, которого он с утра, подхватив это у капитана Кузнецова, настойчиво именуется комбатом. Не ранен. Нет. Но орудие. Но мертвые товарищи. Все там, там, под врагом уже. Кажется, они даже не слушают друг друга, захлеб толкуя каждый свое. Лейтенант — как расстрелял последние снаряды в немец, кинувшихся к роте прикрытия. Но, оказывается, оба все хорошо поняли. Решено! Епишин уходит к автоматчикам. Железняков остается на шоссе. Три удара прикладом по асфальту, и автоматчики сбоку шквальным огнем рубят фашистов на огневой, а Железняков ведет четверых в штывы, в лоб, прямо на пушку. План, как всегда и все планы, кажется выполнимым. Удар наносится внезапный. Гитлеровцы едва ли его ждут. Пушку должны отбить. Дальше все подскажет обстановка, дальше один за всех, все за одного.

Железняков, сойдя с асфальта, ведет свою группу по кювету. И чем ближе подводит, тем медленнее идет. Странно — ни единого звука, ни единого стога, тихо вокруг его огневой, тихо у мостика. А ведь даже когда только отходил отсюда, слышал он и стоны раненых, и шум, и крики.

Все, что неизвестно и непонятно, на войне опасно вдвойне.

— Ну, будь что будет! — Железняков, взяв у стрелка винтовку, резко бьет прикладом по асфальту.

— Ура! — подхватывает всех боевой клич. Подхватывает и несет прямо туда, откуда шквал транссирующих пуль хлещет слева по огневой.



У памятной березы на Варшавском шоссе. 1985 г.

— Ура! — заревели, прекратив огонь, автоматчики Епишина. — Бей! Убивай! Ура!

Девять человек облепили пушку, толкаются на огневой позиции. Фашистов нет. Только трупы.

Епишин вытаскивает из-под маскхалата свой трофейный пулемет и, взяв троих автоматчиков, бежит к мосту. Возвращаются быстро: кроме немецких трупов, там ничего нет. Подобрав своих раненых, немцы ушли. Быстро выкопав из-под березы оружейный замок, Железняков бережно подносит его к орудью. Епишин озабоченно бродит вокруг, расставляя стрелков так, чтобы легче было отбиваться. В оружейный расчет берет только одного. Ведь колья и найдутся в темноте снаряды, то, конечно, немного. А на несколько пушечных выстрелов трех человек на позиции хватит за глаза.

И вдруг все настораживаются, уловив движение слева от мостика.

Из темноты выступает белая фигура. Она уже под прицелом. Но где же остальные? Почему немец идет один, куда, внимание, что ли, на себя отвлекает?

Как ни всматриваются все в темноту, нигде никакого шевеления. Одна эта фигура. Одна. Никакого движения за ней нет.

Железняков, вставивший на место оружейный замок, разгибается и поднимает наган.

— Стой!

Фигура продолжает двигаться.

— Хальт! Хенде хох!

Фигура движется.

— Стой! Стреляю!

Идет.

Выстрел, выстрел и щелчок бойка: в барабанах больше патронов нет.

— Чего в своих стреляешь? — недовольно ворчит фигура. — Счас от по морде как врежу!

Хохот встряхивает позицию. Нервный, возбужденный... Каждый рассказывает другому то, что тот сейчас сам видел и тоже знает. Но остановиться невозможно.

— А лейтенант ему «стой». А он прет.

— Ему «хенде хох», а он...

— Ха-ха-ха!

— Ох умора! В него палят, а он «счас по морде», во комик!

Это фельдшер батальона, он пришел сюда с ротой прикрытия. Он впервые оказался в тылу врага. И очень боялся испугаться, струсить. А сердце давило и давило страхом: не приходилось еще даже на войне бывать в таких опасных переделках. Не раз слыша, что пьяному море по колено, и видя, как все пьют трофейный ром, он решил тоже хватить «для храбрости». До войны же вина не пил. На войне положенную ему норму отдавал то-

варищам. Его подначили, и он выпил целую бутылку. Показалось, что не пьян, что мало, приложился ко второй. Дальше не помнит, что было, — отключился.

Он с трудом приходит в себя. Не понимает, что произошло, где рота. Когда ему показывают роту, он садится в снег и плачет, кричит, что его надо убить, он бы перевязал, спас, он преступник. Из-за него...

Солдаты смеются. Они еще не могут остановиться. Солдаты просто корчатся от смеха. Напряжение и ужас сегодняшнего дня клокочет в них, рвется наружу нервным смехом.

Спит лейтенант Железняков, спит, снов не видит. Сам себе говорит, что не следует, нельзя спать, но спит, ничего не может с собою поделать, глаза закрываются, склеиваются, не разлепить. А тут еще и тепло. Мишка Епишин ночью обнаружил этот немецкий блиндаж. Видимо, патрули у них здесь грелись — печка тут сделана из огромной серебристой бочки. Вокруг нее расставлены сиденья от автомашин. Прочно все установлено, по-немецки, на кирпичках. Бревенчатый сруб до земли врыт в снег, накрыт толстыми дубовыми воротами, пол настелен, дверь пригнана плотно, не дует.

— С удобствами жил фриц! — сплюнул кто-то.

«Жаль, не успел Мишка сам погреться у печки», — даже во сне не забывает Железняков. Вяло как-то проворачиваются в полуоцепенелом мозгу мысли, но текут, текут, не дают забыться. Ранило Епишина. Сразу же почти, как только блиндаж обнаружил, тут же и ранило. Пришлось отправить под Людково, где какая-никакая, а все-таки полковая санчасть. И жаль парня, и трудно без него: слов не надо было, все и так понимал, чертом крутился у орудия, как надо. А пехоте этой все рас толкуй — и без толку.

Снарядов хоть натаסקали из поля на огневую, ящиков двадцать. Сутки целые тут бились, все время снаряды экономя, все время опасаясь, что кончатся. Сутки целые каждый снаряд жалели, стреляли только по крайней необходимости. Теперь снарядов завались — двадцать ящиков. Пушки теперь нет — разбило прямым попаданием. На рассвете, когда и стрельбы-то уже почти не стало. Откуда он только прилетел, тот проклятый немецкий снаряд. Может, и хорошо, что Епишина ночью ранило. Наверняка бы на огневой крутился. И как пехотинца разорвало бы. Один только сапог да рука в перчатке от того и остались. Никто даже не запомнил, как звать его. Теперь напишут: пропал без вести. Вот чертова война. А все радовались — тишина, тишина, тихое утро.

Все медленнее мысли, повторяются, цепляясь друг за друга, вязнут. Но все слышит Железняков, все. Кто вошел, кто вышел, кто трофейный пулемет приволок — ничто не проходит мимо и во сне бодрствующего лейтенанта.

— Тише! — зашипел кто-то на кого-то, с шумом ввалившегося в блиндаж. — Тише! Дай лейтенанту поспать. Он тут всю ночь один из пушки бил. Один держал оборону!

«Вот так и рождаются легенды», — даже сквозь сон улынулся Железняков. Совсем не один был, с Епишиным. Когда же его ранило, стрелки помогали, да и всего-то оставалось на все про все четверть ночи. А пехоте все равно: один артиллерист, один из пушки бил. Так и пойдет теперь от одного к другому, так и пойдет... «Если будет от кого к кому идти, конечно», — приходит в голову и такая трезвая мысль.

И все-таки какое-то тепло разливается по нему от этих бесхитростных слов солдата. Нет, наверно, радости выше, чем от признания товарищей по бою. Они ведь тоже дрались всю ночь. И вот сами усталые, сами не спав-

шие оберегают сон того, кто, как им кажется, сделал больше их. И радостно от их грубого шепота и смешно. Шепчут, а рядом нет-нет да и ахнет снаряд. Его-то не заставишь греметь потише.

Но кто же это может не знать, что он тут делал ночью? Кому тут вполголоса все рассказывается? Железняков приоткрывает один глаз. Да это же Мухин, помначштаба Мухин, самый длинный лейтенант в полку! Железняков вскакивает, словно вовсе и не спал. Мухин появлялся в эту ночь трижды и только в отчаянные минуты. Капитан Кузнецов присылал его всегда, когда во что бы то ни стало требовалось держаться, не дать немцам прорваться от мостика к Людкову. Один раз даже подкрепление привел. Трех человек. По нынешним временам — целый взвод.

— Опять, что ли, плохо дело? — вопросительно глянул артиллерист на Мухина, который и пригнувшись все-таки шапкой доставал до наката из дубовых ворот, заполнил собою весь блиндаж. Надо же, такую каланчу и не задело за сутки, ничем и ни разу.

Дело оказалось не в опасности. Просто Кузнецов, узнав, что погубило орудие, встревожился, захотел узнать, как дела на самой дальней заставе. Мухин должен был остаться командовать здесь, если б Железнякова убило. Он очень рад, что обошлось. И для Железнякова обошлось, и ему, значит, можно возвращаться в полк. Кузнецову там без него трудно.

— Обошлось, — печально кивнул Железняков. У него перед глазами опять взвихрилась дымная круговерть на огневой, дохнуло огнем и дымом, разом исчез в нем пехотинец, а на бруствер аккуратно легла перчатка. Не рваная, не смятая, туго натянутая на кисть руки, чисто, словно топором отсеченную кисть — все что вместе с сапогом осталось от человека. — Действительно, обошлось.

— Не нравишься ты мне что-то, Витя! — внимательно посмотрел ему в лицо Мухин. — Ой, не нравишься. Может, тебя действительно подменить?

— Да ладно! — отмахнулся тот. — Не скисну; не бойся, передай капитану — стоим прочно.

Его даже развеселило мухинское предложение. Подменит, и куда тебе? В санаторий? В тихую обитель под Людково?

Они выходят из тишины и тьмы блиндажа в ясный утренний свет и глохнут: над шоссе с ревом идет девятка желтокрылых бомбардировщиков.

— Началось! — задирает голову Мухин. — Верно капитан сказал: на каждого из нас сегодня будет по семь самолетов.

Он жмет руку лейтенанту и убегает: ему надо торопиться, хоть полдороги проскочить, пока не прилетели следующие.

Следующие прилетают минут через пятнадцать. Бомбы, бомбы, бомбы. Даже свиста их теперь не слышать, даже моторы кажутся беззвучными: разрывы сливаются в сплошной гулкий рык. Солнце затянуло, закрыло дымом. Начался день — двадцать четвертое февраля тысяча девятьсот сорок второго года. Целиком пройдет он под бомбами, под скрежет авиационных пулеметов, под лай пушек с неба. На сотню шагов вправо и влево от шоссе почернеет снег, перепаханый взрывами.

Днем вдруг словно смело с неба самолеты. Часа два не появлялись над шоссе. Можно стало ходить, есть, перевязывать раны.

— Приготовиться к атаке!.. Приготовиться к атаке!.. — пронеслась от окопа к окопу команда капитана Кузнецова.

Атаки не было. Потеряв двадцать третьего февраля больше тысячи человек только убитыми, гитлеровцы

двадцать четвертого не пытались пехотой занять пехотный остров. Выжигали его огнем.

— А самолетов на два объекта у фрица не хватило, — злорадно отметил Кузнецов, видя, как несколько кругами ходили в небе желтокрылые машины над Проходами и рядом с ними.

Дым опять врался черными столбами к небу.казалось, вчера в Проходах все, что могло сгореть, уже сгорело. Сегодня видно стало, что это не так.

Горели не только Проходы. Красная Горка, Красная Гремячка, Вязичня — вся округа, все, что могло гореть в расположении приста сорок четвертой дивизии.

Потом из Медвенки пошла немецкая пехота. Несколько сотен человек двинулось по глубокому снегу на пылающую деревню на вершине крутого холма. Не дошли. Добрались только до ложбины, протараненной вчера в глубоком снегу второй гвардейской танковой бригадой. Там и остались до темноты.

Знать бы им, полнокровными батальонами наступавшим на Проходы, кто их там остановил! Не узнали. Не узнают. Да если б и узнали, не поверили бы. А триста сорок четвертая дивизия навсегда запомнила имена командиров пулеметной роты Федора Листратова и стрелковой — Новичонка.

Оба лейтенанта были без своих рот. Легко раненные в предыдущих боях, они не смогли уйти в десант. Но утром следующего дня, бросив медсанбат, забинтованные, хромые, добрались лейтенанты до почти пустой погорелой деревни Проходы. До них в нее ночью вошел штаб тысяча сто пятьдесят четвертого полка — то, что от него оставалось, — с ротой связи и противотанковой батареей, пробившимися наконец через снега двумя взводами сорокапятки. Утром в Проходы вынес свой командный пункт майор Страхов, оставшийся и за убитого комдива, и за пропавшего без вести комиссара, и за убитого начальника политотдела дивизии.

Батарея... рота... штабы... Все это названия, названия: людей, если всех пересчитать, не набралось бы и полсотни. Это на них шли сейчас немецкие батальоны.

Когда Листратов с Новичонком прихромали в деревню, и комбат сорокапятчиков, и взводные — лейтенанты Каменир с Поповым, и солдаты обоих взводов уже погибли под первым ударом немецких самолетов, одною бомбой угодивших в пореб с картошкой, где укрылась от бомбежки вся батарея. Одним разом не стало больше половины гарнизона Проходов. Понятно, почему раненым лейтенантам показалась совсем пустой огненная деревня. Разрывов снарядов и бомб вставало больше чем людей. Понятно, почему, когда немецкая пехота двинулась на Проходы, ее встретил поначалу только редкий винтовочный огонь. Два штаба, два раненых лейтенанта, два десятка солдат против прозного движения двух батальонов — такая вот была обстановка в Проходах двадцать четвертого февраля.

— Связист! — окликнул лейтенанта Мареева командир дивизии майор Страхов. — Где связь с артполком, где связь с зенитчиками, где вообще связь?

Отвернувшись, он тщательно прицелился из винтовки в сторону Медвенки. А Мареев в это время толкнул в плечо невысокого худого сержанта с опромной катушкой провода на ремне.

— Баранкин! Бегом по линии.

— Ну? — строго спросил Страхов. — Что со связью?

Весь день он почему-то, минуя начальников связи полка и дивизии, спрашивал о ней только этого быстрого с сияющими круглыми глазами лейтенанта.

— Я вас прошу, очень прошу, — внимательно взглянув на Мареева, негромко, но твердо сказал майор, — не отвлекайтесь на перестрелку. Дайте связь.

Сам он, опять подхватив винтовку, застучал редкими выстрелами по немецкой цепи.

Мареев, которого два дня костерили все, кому угрожали расстрелом каждый час, даже оцепенел от неожиданной непривычной для него, но обычной для Страхова вежливости.

— Связь будет через пятнадцать минут! — крикнул он в спину майору.

Тот, не поворачиваясь, только поднял вверх руку с часами и потряс ею.

А связь, кроме Мареева и Баранкина, восстанавливать было некому. Начальник связи полка лейтенант Дуклер умирал от тяжелой раны в соседней траншее. Командир роты связи лежал на операционном столе в медсанбате. Рота была, но роты и не было: все работали на линии. И все-таки через пятнадцать минут связист, сидевший в окопе у ног командира дивизии, испуганно и удивленно заорал во всю глотку:

— Связь с двенадцатым. Требуют двадцать шестого.

А Страхов, сдержанный аккуратист Страхов, не положил — нервно отшвырнул винтовку, не сел — упал на дно снежного окопа к телефонному аппарату, вырвал у связиста трубку.

— Десант продолжает удерживать шоссе, — в первую очередь доложил он то, что сейчас прежде всего интересовало командарма в полосе дивизии. — Передвижения немцев с запада происходят только до Адамовки. — Он помолчал, слушая властно рокочущую трубку. Поморщился. Ответил медленно и сдержанно: — Сам нахожусь на глазах. Вижу все сам. Врать не приучен. Чего не вижу — не докладываю.

Опять помолчал, встав во весь рост, слушая грозный рокот телефона и глядя на прозное приближение немецких батальонов. И не выдержал, вскипел, хотя говорил по-прежнему ровно.

— Проходы держит не дивизия, а две штабных группы. Задачу выполняю. Прошу на меня не орать.

Страхов положил трубку, посмотрел пустым каким-

то взглядом в сочувствующие глаза опять возникшего возле него Мареева и вдруг улыбнулся.

— Конечно, не дело, — скорее себе, чем Марееву, сказал он, — чтобы командир дивизии сидел без связи, чтобы сам из винтовки пулял, а не войсками руководил. Прав штаб армии. Кругом прав. Только где они, войска? И связь где?

Да, не выйти майору в генералы. И дело знает, и опыт, и служит давно. С начальством не умеет промолчать.

— Связь с арtpолком? — оборвал он себя.

— Есть, — протянул ему трубку Мареев. — Курочкин у аппарата.

Девятьсот тринадцатый дивизионный арtpолк сосредоточил огонь, отсекая немцев от Проходов.

— А это кто бьет? — востроился комдив, слышав огонь пулеметов, которых прежде не было.

— Листратов, — доложили ему, — пулеметной роты командир. Раненый, сбежал из медсанбата. Из разбитых пулеметов, что кругом валялись, два собрал. Из обоих бьет.

Два раненых лейтенанта отбросили немецкую роту, приблизившуюся к западной окраине деревни. И сколько потом немцы ни пытались подойти сюда, пулеметы Листратова и снайперская винтовка Новичонка возвращали их обратно.

— Передайте им мою благодарность! — послал к ним Страхов политрука Самарова.

Благодарность! Смешное довоенное поощрение. Сюда, на западную окраину Проходов, рушит бомбы целый немецкий бомбардировочный полк. Был бы здесь батальон — ни рожек ни ножек от него не нашли бы. А в двух лейтенантов да присоединившегося к ним политрука поди попади. Не умолкают два пулемета и две винтовки.

Какой благодарностью, наградой какой оценить под-



Комсомольский билет командира батареи Александра Щеголова, пробитый на нем осколком снаряда.

виг раненых лейтенантов Листратова и Новичонка, отстоявших деревню Проходы? Нет таких наград на земле.

В тридцати километрах от Проходов у той же деревенской избы, где генерал Болдин вчера наблюдал за немецкими самолетами, та же самая штабная группа рядом с командармом опять устремила в небо бинокли.

Переговариваются негромко, деловито, без нервной суеты. То, что гитлеровцы бьют Проходы, не удивляет, так и должно быть: они ближе всего стоят там к шоссе. Но вот то, что они весь день висят рядом над Варшавкой, радуется безмерно. Есть, значит, кого бомбить на шос-

се. Десант держится вдвое дольше, чем можно было ожидать.

Правда, дивизии, с трех сторон наступающие на Юхнов, вдвое дольше не смогли решить поставленную им задачу. Но противник уже сдал почти все деревни и высоты вокруг Юхнова. Уже у нас проклятая деревня Чебери, у нас Чернево, у нас десятки деревень, под которыми армия оставила батальоны.

Смеркается. А вражеские самолеты все идут и идут к Людкову и Адамовке. Командарм, поживившись, отдает бинокль адъютанту.

— Люди сделали свое дело, — невесело говорит он. — Пойдемте делать свое.

Взяв под руку генерала Леселидзе, Болдин отводит его в сторону и молча смотрит ему в глаза.

— У Чугунова одна десятая бэка, — тихо говорит тот, не ожидая вопроса. — В полках, которые могут сманеврировать траекториями, меньше половины.

Вопрос так и остался не заданным. Нечем помочь триста сорок четвертой, нечем.

— Перебросьте под Проходы зенитный дивизион! — решает командарм.

— А штаб армии? Чем прикроем? — сверкнул глазами генерал Леселидзе.

Болдин, уже шагнувший к дому, остановился, глянул на строй немецких самолетов, летящих над Варшавкой, и отрубил:

— Дивизион под Проходы, Константин Николаевич. Немедленно!

Над картой командарм, сжав руками голову, всматривается в построение правого фланга армии, вплотную приблизившегося к Юхнову.

— Страхов нервничает, грубит... — ни к кому не обращаясь, но зная, что тот, кому надо, услышит, вполголоса произносит начальник оперативного отдела, увидев, что взгляд генерал-лейтенанта вернулся к Проходам.

— Послать тебя вместо дивизии ротой командовать, посмотрим, сам какой будешь, — тоже ни к кому не обращаясь, бросает кто-то.

Среди штабных пробегает не смешок, нет, слишком уж накалена обстановка. Но начальник оперативного понимает: не сочувствует штаб его педантичности.

— Ну, — тяжело поднимает голову командарм, не обратив внимания на реплики, но обрывая все разговоры. — Люди, отдавшие жизнь за Юхнов, должны отдать ее не зря. Противник пополнения из своего тыла не получил. Десант Глушкова вторые сутки стоит у них костью в горле. Слушаю ваши предложения.

Юхнов должен быть взят завтра.

— Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Подмога идет, товарищ лейтенант!

Железняков с трудом, с треском, кажется, расклеивает слипшиеся веки и отодвигается от жаркой бочки. Еще не проснувшись, но уже рванув к себе автомат, вскакивает на ноги.

Вчера... Не вспомнишь даже, что и было вчера... А может быть, это было сегодня? Все смешалось, все.

— Двадцать пятое февраля сегодня, что ли? — спрашивает он, просовываясь в дверь блиндажа.

Солдаты смеются. Совершенно незнакомые солдаты. Одного он как-будто узнает по прожженному на боку маскхалату — этот ночью очень здорово кидал гранаты. А двое, если это они, появились уже под утро.

Приказано было выжить до утра. Выжили. Выстояли. Только приказано было одним, а утро Железняков встречает, оказывается, с другими. Перепуталось все, не распутать. Только двадцать пятое, оказывается, сегодня, а ему казалось, что уже неделю целую держит он этот проклятый мостик. Люди меняются, как в калейдоскопе.

Один Железняков — беспущечный артиллерист — как привязанный тут, неубиваемый, вечный и несменяемый.

Окончательно просыпается лейтенант, только ткнувшись лицом в жесткую снежную стену траншеи.

Опять смеются солдаты. Незнакомые — ни имен, ни фамилий. Это его гарнизон. С ним он держится до утра.

— А где сержант? — спрашивает он.

Ночью фамилии сержанта так и не спросил — не до того было. Сержант и сержант. Бей, сержант!.. Лупи, сержант!.. Сержант, ударь вправо! Гранатами их, гранатами, сержант!.. Вот и все они — ночные разговоры.

Смех обрывается. А-а-а, вот оно что. Ну что ж, брат, хороший ты был человек. Надежный, верный весь тот последний час, что жил ты на земле. Пришел к нам безымянным сержантом — ушел сержантом.

Прощай, сержант! Прощай, друг!

Подмога. Ее обещали к утру. Но столько, сколько идет сейчас слева, метрах в двухстах от шоссе, прямо по целине, утопая в глубоком снегу, невозможно было и представить. Наверно, весь полк ушел из-под Людкова. Не мостик же охранять идет такая масса.

Противник по ним не стреляет. Странно. И никого из штабных командиров Кузнецов сюда не прислал. Тоже странно. Но не страшного, обычного и не было ни разу в этом сумасшедшем бою. И нечего удивляться: каждый видит бой по-своему. Хотя что-то здесьстораживает. И сильно. А что — еще надо понять. Сна уже ни в одном глазу.

— И справа идут! — радостно сообщает солдат в прожженном маскхалате.

Железняков оборачивается, и тревожные удары пульса сбрасывают остатки радостного возбуждения. Верно. И справа тоже. И их много. Слишком много. И слишком много тишины. Где самолеты? Бомбы где? И артиллерия врага молчит. А ведь видят, не могут не видеть в чистом поле этой подмоги.

— Всем в укрытие! — на всякий случай приказывает он. — Наблюдаю только я.

Ворча и не понимая, гарнизон его уходит со света в темноту блиндажа. А лейтенант уже все понял и поэтому приказывает солдатам загасить печь, да побыстрее, и чтоб ни дымка над блиндажом.

Подмога движется, заходя за мостик, оставляя его у себя в тылу, за сгоревшую позавчера тридцатьчетверку. Кто-то там ударил по ней чем-то металлическим. Кто-то что-то сказал. Слов не различить, но голос, голос... Слишком много в нем сахара.

— Го-го-го... го-го-го, — заржали в цепи грубые солдатские голоса.

«Немцы! Над мертвыми танкистами издеваются», — похолодел Железняков, хотя уже и готов был к этому, понимал все, чуть ли не с первой минуты.

— Пулемет ко мне!

И тут же увидел, как от сгоревшей немецкой колонны прямо по шоссе двинулись к мостику открыто, не таясь, белые фигуры.

— По колонне справа, по колонне слева, бей, ребята!

Пулеметов у них навалом. Немцы их сами приволокли, те, что валяются вокруг. Лент металлических тоже. Три пулемета хлестнули разом.

— Эх, пропустили время, — крутит головой Железняков. — Эх, пораньше бы.

Он ждал этого давно. Он не понимал, почему еще вчера, еще позавчера, гитлеровцы не раздавили их.

И вот уже не о чем думать, не в чем заблуждаться: пулеметы, пулеметы, пулеметы — на каждого три или четыре. Как огненной крышей накрыло их блиндаж ливнем трассирующих пуль.

Они еще держатся, отстреливаются, но уже ясно — конец. Надо уходить. Позиция себя пережила. С нее можно остановить — ненадолго, ох, ненадолго! — только

тех, кто идет в лоб. А надо успеть прийти в полк раньше, чем противник ударит по нему с тыла.

Из-за сгоревшей немецкой колонны ударили минометы.

«Что делать? — лихорадочно ищет выход Железняков. — Как быть?»

Выхода нет. Блиндаж, врытый здесь немцами в снег — место для отдыха, не для боя. Нет кругового обстрела, нет ничего, чем определяется боевая позиция. Они сдерживают огнем тех, только тех, кто идет на них из-за мостика. Задержали на время и немцев в поле. Но ненадолго это: сейчас они перестроятся, обойдут их, забросают гранатами. Конец ясен.

Мины все ближе.

Выход из блиндажа — короткая траншея — раскрывается прямо на мостик. По этому выходу и бьют немцы.

Позади блиндажа еще позавчера прошла тридцатьчетверка. Если бы как-то перебраться в глубокий — метр-полтора — след танковых гусениц, можно было бы по нему незаметно уйти, обогнать гитлеровцев, медленно продирающихся через снег справа и слева, успеть предупредить полк.

Выход из траншеи под огнем немецких пулеметов. Там не пройти, там никому ни одного шанса на жизнь. Выскочить наверх? Тоже ни одного шанса — срубят мгновенно. Отстреливаться здесь могут только двое. Тесно, не повернуться. Плохо дело, плохо. Разве что прорубить заднюю стенку блиндажа, прорыть ход к танковому следу и уползти, пока гитлеровцы не зашли справа и слева и не просматривают ничего за блиндажом.

Топора нет. Есть малая саперная лопатка. Не плотницкий это инструмент. Автоматы или пулеметы хоть и железные штуки, но лом для работы лучше.

Пока солдаты отстреливаются, Железняков пробует прикладом пулемета выбить стенку. Без толку. Прочно

сделано. От злости и бессилия он переворачивает пулемет, и длинная, на расплав ствола очередь глухо барабанит внутри блиндажа.

Щепка, отлетевшая от бревна царапает ему щеку, и тут его осеняет: он сейчас свинцом прорубит все эти бревна.

Лента кончилась. И бревно почти кончилось, расщеплено в крошево. Еще очередь, еще. Хорош плотницкий инструмент — пулемет.

Железняков бьет малой саперной лопаткой в расщепленные бревна, бьет, бьет, бьет. Солдат-пехотинец, видя, что он устал, перехватывает у него лопатку — тоже понял, в чем дело.

Двое стреляют по немцам, двое ломают, крошат стенку. Хочешь жить — силы прибавятся. За каких-нибудь десять минут в толстых бревнах прорублен лаз.

Теперь кому-то надо выбраться из блиндажа по нему, оглядеться. А мины бьют, мины рвутся вокруг одна за другой.

— Давайте, ребята! — отбросив лопатку, устало садится Железняков на мягкое автомобильное сиденье. — Приглядитесь там, как уходить.

Никто не идет.

Он в изумлении оглядывает свой гарнизон.

— Вы что? Быстрее.

Никто не идет.

Железняков поодиночке пробует заставить каждого вылезти через пролом, чтобы оглядеться.

Не идут!

Стрелять в траншею идут, встают там под бешеный пулеметный огонь, а лезть туда, куда пули не достают — ни в какую.

Понять невозможно. Но, видимо, лезть в дыру, в темноту, в мышиную норку, из которой уже курится дым разрывов, человеку страшнее, чем выходить в привычный окоп.

Что делать командиру, которому не повинуется гарнизон?

Нет двух решений. Есть одно — заставить повиноваться.

Как? Какие угрозы могут обеспечить выполнение приказа, когда не помогают ни уговоры, ни логика. И чем можно угрожать за минуты до смерти?

Только смертью. Смертью на минуту раньше. Той смертью, которая не промахнется, когда та, другая, может еще ударить и не наверняка.

Значит, расстрелять не выполняющего приказ?

Кого?

И в гарнизоне останется только трое.

Скачут мысли, скачут, и нет даже пяти минут на то, чтобы что-то решить.

Железняков сам забирается в лаз. Управлять сейчас можно только личным примером. Угрозы не годятся, когда рука не подымается на то, чтоб привести их в исполнение.

Мины рвутся рядом, мешают наблюдать. Но тут многого и не надо: грозная картина открывается во всей своей неотвратимости. Правая и левая колонны выслали группы к шоссе, и те уже скоро выйдут на Варшавку. Полчаса промедли — и не уйти.

Он пятится назад, чтобы скомандовать отход, и в это время прямо у него на спине рвется тяжелая мина. То есть не на спине, конечно, удар пришелся по крыше блиндажа. Но что там от спины до взрыва — одни дубовые ворота да слой снега. Словно чугунный молот обрушился на спину и ноги. Он не чувствует их.

Ему страшно. Так страшно, как не было за все эти дни.

Казалось бы, давно уже понял, что живым из десанта не уйти. Казалось бы, уже столько видел смертей, отупел, отключился, остался без эмоций. Нет, все равно страшно.

Смерть мгновенная, смерть без мук, разумом уже принималась и не пугала. Но встретить ее беспомощным, без ног... Лейтенант не в состоянии оглянуться, боится пошевелить ногами, окончательно убедиться, что их у него нет, что они оторваны.

Рука тянется к кобуре. Вынув наган и покрутив барабан, он внезапно успокаивается, унимает нервную дрожь. В барабане есть три патрона. Мгновенная смерть, смерть без мучений у него в руках. И бояться, значит, нечего.

Оттолкнувшись руками, ногами так и не шевельнув, он скатывается в блиндаж. Скатывается? Нет, спрыгивает. Тренированное тело спортсмена само, автоматически выполняет прыжок. И он стоит на ногах. Они целы, они даже не поранены.

Счастье, охватившее его, длится недолго, на миг лишь хватает радости — так плохо все вокруг.

По фашистам уже никто не стреляет: все ошеломлено разрывом той самой мины, что ударила его по спине. — Прощайте, товарищи! Отомстите... — стонет один.

Второй сидит на полу, надев на голову сиденье от автомобиля. Третий лежит в проеме двери, придавленный сорванной дверью.

— Не бросайте меня, — опять стонет раненый, тот, что только-только со всеми попрощался. — За меня награду дадут...

Железняков стаскивает дверь с одного, сбрасывает автомобильное сиденье с другого, и оба вскакивают на ноги. Раненый стонет и стонет, говорит какие-то слова.

Лейтенант очень хорошо помнит ужас беспомощности, в котором он только что лежал после разрыва мины, когда решил, что остался без ног. Поэтому понимает, что чувствует человек, разом лишившийся в жизни всего. А слова, которые тот говорит, нелепые слова, их можно стыдиться, но это там, в другой жизни, где можно ду-

мать о словах, выбирать их, где не бьют железом по голове, где кровь не льется по лицу.

Времени нет ни на что — ни на жалость, ни на объяснения.

— К пулеметам! — выталкивает Железняков в двери еще не пришедших в себя солдат. — Помолчи, — жестко обрывает он раненого. — Дай посмотреть.

Рана, к счастью, в общем-то легкая. Осколки рассекли на лбу кожу, и она свисла на глаза. Раненому темно, ничего не видно, кровь льется, страшно ему. А кость не задета, и рана не опасная. Если бы, конечно, с нею в госпиталь, в медсанбат, в санроту, хотя бы.

Подняв кожу на лбу и забинтовав голову, Железняков просит раненого открыть глаза. Тот пробует, но снова ничего не видит. Пока его бинтовали, пока лейтенант говорил ему ободряющие слова, он верил, ему казалось, что сейчас все пройдет: и боль, и слепота, все встанет на прежнее место. Ничего не прошло. И это было ударом, не меньшим, чем от иссекших лицо минных осколков. Опять во весь голос заплакал, заверещал раненый.

— Молчать! — грозно рыкнул Железняков.

Он дает раненому ремень и приказывает вцепиться в него зубами. Тот намертво закусывает его и теперь молчит уже поневоле. Одному из стрелков, оторвав его от пулемета, лейтенант передает другой конец ремня и толкает солдата к лазу.

— Доставить раненого в полк.

Змею проскользнули оба в лаз. Ушли. Что мог сделать для раненого лейтенант, то он сделал. Железняков, подхватив пулемет, пристроился рядом с последним стрелком, всем телом влег в снежную нишу и тут только понял, как устал.

— Товарищ! — взмолился он. — Я посплю минут пяток. Постреляй пока один.

— Ты что, лейтенант? — удивился тот. И даже руками развел. Нашел, мол, время и место, чтоб отдохнуть.



Фрагмент памятника десанту 1154-го полка на Варшавское шоссе.

Но, глянув в мертвое от усталости лицо Железнякова, быстро-быстро закивал: — Поспи лейтенант, поспи. Я прикрою.

Уткнувшись лицом в рукав, Железняков закрывает глаза. Что-то замелькало в тумане полусна. Прополз в снегу по танковому следу пехотинец, волоча за собою на ремне раненого, пушка ударила в ночи, рванулись немцы на картечный выстрел... Все. Кончились пять минут, разрешенные себе для сна.

— Хватит у тебя сил бежать с пулеметом и коробкой? — спросил Железняков у пехотинца.

Тот кивнул — хватит.

— Тогда ленту целиком в распыл, другую заряди, мне оставь, бери один пулемет и пошел вслед за ребятами, бегом.

Последний товарищ, нырнув с пулеметом в лаз, пропал, как и не было.

Сверху только мины. Только мины, летящие из спаленной колонны. Хорошо еще, что сбоку никто не стреляет, незамеченными уходят ребята.

Прицельно стреляя из одного пулемета, Железняков одновременно свободной рукой жмет на спуск второго. Куда летят пули этого второго, бог знает, но два разом стреляющих пулемета — это два пулемета, не один.

Выждав сколько можно, он расстреливает последнюю ленту и, взяв только автомат и несколько магазинов, налегке бросается в лаз и на четвереньках бежит по танковому следу вслед за своим отступающим гарнизоном.

А дело совсем плохо. Одного взгляда сверху от блиндажа было достаточно, чтобы понять, до чего же плохо. Правая и левая группы гитлеровцев сомкнулись на шоссе. Человек двадцать, не меньше. Прямо на них выводит танковый след. Хорошо еще, что они не оглядываются, идут себе по асфальту, отдыхая, видно, от снежной целины.

Он уже догоняет своих, когда становится совсем

скверно. Сзади прекратился минометный огонь. Сзади крики гитлеровцев. Оглянувшись, видит солдата, стоящего на крыше блиндажа. Атаковали, значит, пустой блиндаж, захватили и теперь видят их.

Он поднимается в полный рост. Прятаться уже глупо. Все на виду. Догнав, поднимает свою группу.

— Бегом! Бегом! Во всю мочь.

Вместе с пулеметчиком обгоняет раненого и поводыря. Хорошо хоть успели на километр уйти от мостика. Пока оттуда догонят, они постараются прорваться через немецкую группу, соединившуюся на шоссе. Железняков и не думает, что это невозможно — бой четверых против двадцати. А может, и против сотни. Измученные против свежих. Три ствола против десятков. Но... но... но... ничего другого не остается, бой ведешь в любых условиях. А залечь и умереть — это всегда успеется.

Повезло. На войне всегда кому-то везет, часто получается то, что никогда не может получиться в тихие мирные дни.

Немцы, стоящие на блиндаже, — их там уже человек десять — решили остановить убегающих минометным огнем.

— Фойер, — орут они, — фойер... фойер...

За километр слышно, так вопят.

И мины как по заказу ложатся перед железняковской группой. Густо ложатся, минометов пять лупят, не меньше.

Этот огонь может остановить кого угодно. Отсесть, остановить, заставить залечь. Он не может остановить четверых — ошалевших, хрипящих, бегущих прямо в дым и огонь, не имеющих ни одного шанса на жизнь.

Гитлеровцы сзади опять переносят огонь, опять кладут мины перед бегущими, опять перед ними, опять. А те уже сходятся с противником на шоссе. И немецкие мины бьют по немцам, которые совсем не хотят умирать из-за четверых, которым все равно куда не уйти.

В брешь, пробитую минами, все четверо проходят беспрепятственно.

— Как дела? — хлопает Железняков раненого по спине, обгоняя его после того, как на гребне холма остался с немецким пулеметом, дострелял последние патроны и бросил его — пусть фрицы берут свои немецкие трофеи. Теперь он налегке догнал группу. — Награду обеспечишь? — поддевает он еще, видя, что тот выбил из сил, крепится из последнего. — За тобой награда, не забудь!

Раненый мычит что-то радостное. Ответить не может: в зубах закушен ремень. Но он уже слышит близкую перестрелку. Значит, добежали. Перед ними полк. Жизнь, значит. Жизнь. Пусть смеется лейтенант. Он бы и сам посмеялся. И стыдно, конечно. Действительно, наградили — награду за него дадут, подумаешь, какой маршал.

Железняков что-то орет, размахивая наганом, в котором не осталось ни одного заряженного патрона, зовет куда-то на прорыв, требует, чтобы его отпустили, он один покажет всем, как надо воевать. Веселые круглые глаза капитана Кузнецова смотрят на него в упор насмешливо и сочувственно.

— Лейтенант, ты пьян. Отдохни минут десять, потом поговорим.

Он пьян? Да ни в одном глазу. А тут все трусы, трусы, трусы! Он — лейтенант Железняков — заставит их воевать!

— За мной! — орет он и лезет из окопа наверх.

Трое солдат с трудом скручивают его, сваливают на дно окопа и садятся на него сверху. А он выпбается, кричит, пытается укусить кого-то за валенок.

— Я арьергард! — бьется он. — Я арьергард!..

— Сорвало парня с нарезки, — нагнувшись к борю-

щимся с обезумевшим лейтенантом солдатам, говорит Кузнецов. — Истерика. Не выпускайте. Пригладьте его утюгом.

Глаза его печальны и мудры. Сколько этих восемнадцатилетних мальчишек было вчера вокруг него. С какой беззаветной отвагой ходили они в огонь. Капитану тридцать восемь лет. Он кажется себе стариком, не дряхлым, но старым-старым, престарелым даже, которому опыт старости позволяет понять каждого из этих юношей в каждом их порыве.

— Помните? — спрашивает он пожилого политрука. — «Я маршал Ней — арьергард великой Армии».

— Припоминаю, — усмехаясь кивает политрук, — у маршала в арьергарде никого не осталось, кроме него. А Витка наш с раненым на шею еще двоих вывел.

Они уходят за поворот траншеи — последней траншеи тысяча сто пятьдесят четвертого полка.

— Приведите «маршала» ко мне, когда остынет! — приказывает капитан на ходу.

С четырех сторон бьют гитлеровцы. С трех бьют их минометы. Им уже несколько раз казалось, что с этим проклятым окопом все кончено: ни одного выстрела не было в ответ. Но стоило по шоссе хоть взводу двинуться к Людкову, как тут же оживал окоп и осатанелым огнем сбивал их с дороги. Варшавское шоссе по-прежнему было непроходимо для немцев.

Капитан Кузнецов стоял в коротком ответвлении окопа с ручным пулеметом — тоже последним пулеметом полка — и зорко следил за Варшавкой. Высунувшись по грудь из окопа, он бил из «дегтярева» непрерывно. Четверо, сидя на дне окопа, заряжали ему диски, стрелял один Кузнецов. Этот пулемет — единственный теперь пулемет полка — один держал сейчас Варшавское шоссе, один выполнял ту задачу, которую третий день решал тысяча сто пятьдесят четвертый полк: не давал противнику пройти на Южнов.

— Капитан! Капитан! — согнувшись в три погибели, подобрался к нему по окопу лейтенант Мухин. — Надо отходить, капитан!

— Отходить? Почему?

— Нас же всех через полчаса здесь перебьют, — шепчет Мухин.

— Ну и что? — громко и весело спрашивает Кузнецов.

Мухин в ужасе смотрит в лицо капитана. Рехнулся тот, что ли? Он не прятался от смерти, помначштаба лейтенант Мухин. Если бы ему рассказали о человеке, который половину бы сделал из того, что делал он сам, хотя бы только в день двадцать пятого февраля, он по праву считал бы, что тот заслуживает ордена, двух, трех наконеч, вообще нечем измерить величину его подвига. Но сейчас, когда они сделали все, что в силах человеческих, зачем же умирать, за что? За полчаса времени? За десять поганых фрицев.

Справа, слева, сзади встают разрывы гранат. Гранаты рвутся непрерывно. А потом тишина, страшная тишина без единого выстрела и взрыва.

Капитан вскакивает на ноги, выбрасывая перед собою на бруствер пулемет. Он не даст фрицу, не даст, он не пустит, он... Кузнецов кричит это, паля по немцам, поднявшимся из снега в атаку. Потом перебрасывает пулемет назад и бьет туда. Потом вправо, влево, опять вперед. Расстреливая диски, он сбрасывает их вниз, а в руке, которую он не глядя опускает в окоп, сразу оказывается новый: четыре человека на дне окопа заряжают ему диски. Он стоит один в этом окопе, до пояса открытый любой пуле, и пулеметные очереди режут его пополам. А он жив, жив и не ранен. Везет храбрецам, везет!

Траншея тоже не молчит. Траншея огрызается то шквальным, то одиночным огнем. Но главным, что притягивает к себе все немецкие стволы до вечера, остается

отросток окопа, в котором стоит и бьет, стоит и бьет капитан Кузнецов с последним пулеметом.

В промежутке он присаживается на дно траншеи, и опять глаза в глаза оказывается с помначштаба Мухиным.

— Капитан, надо пробиваться! — опять упрямо говорит тот. Только что он отстреливался, отбивался гранатами, даже прикладом огрел по каске немца, прорвавшегося к траншее, которого тут же и закололи штыками. Не трусил Мухин в бою, нет, не трусил. Но умирать, как он думает зазря, не хочет.

— Лейтенант, — вдруг спрашивает Кузнецов, — ты женат?

— Нет, не женат, — удивляется Мухин, не понимая, при чем тут это, — даже невестой еще не обзавелся.

— Так какого же ты!.. — встает, нависая над длинным скорчившимся Мухиным невысокий капитан. И так он грозен, что кажется глыбой, готовой раздавить лилипута. — Меня двое детей ждут, а я... А ну, бегом на левый фланг! И чтоб не видел тебя до темноты.

Исчез Мухин. А Кузнецов, сдвинув шапку на лоб — каску он так и не надел, хоть их под ногами полно, — доверительно говорит Железнякову:

— Самому мне эта война осточертела. Сейчас нам в Мелекесс бы закатиться, а, лейтенант?

Железняков после истерики был у капитана под надзором. Вышел из-под него, восстановлен в доверии и часа два уже носится по обороне с его приказами, исполняя обязанности адъютанта, начальника штаба и офицера по особым поручениям.

Впервые в том страшном окопе услышит он о Мелекессе. Так заманчиво прозвучало это название, такая разом встала за ним вольная, чуть бесшабашная жизнь, так залихватски потянулся Кузнецов, что, забывшись навсегда, что есть на свете Мелекесс, года два не решался Железняков спросить у кого-нибудь, что это такое. Спро-

сишь, а окажется, что это известно всем, вроде Сочи или Крыма. Смеяться будут. Так, не выясняя, и считал Мелекесс наравне с Нищей и другими заморскими курортами. И долго удивлялся, узнав наконец этот маленький городок вдали от всех дорог.

— Сходи-ка, брат, проверь, как дела в траншее политруков, — послал капитан своего начальника штаба.

Траншея политруков. Двадцать пятого февраля, обходя последнюю линию обороны и подсчитывая ее последних защитников, Железняков увидел в одном из траншейных отводов группу стариков. Эти престарелые по его представлению люди — каждому не меньше, а то и больше сорока — все были политработниками, все из Ульяновской области, которая отдала формирующейся в ней триста сорок четвертой дивизии свой партийный актив. Недолго она существовала на свете, траншея политруков, всего несколько часов, а помнили ее в тысяча сто пятьдесят четвертом полку до последнего дня войны. И позже. А разъезжаясь по стране, ветераны полка разнесли из края в край и память о ней.

В ней были люди, все до одного знакомые с довоенных лет, по довоенной работе, встречам и совещаниям. В полку они были парторганами, политруками, хозяйственниками.

Политруки уже не существующих рот. Рот, уничтоженных жестоким огнем. Им уже нечем было командовать, некого воодушевлять, кроме самих себя: все их бойцы, оседлавшие Варшавское шоссе, полегли вокруг деревни Людково. Их двадцать пятого февраля как магнитом стягивало друг к другу, к своим одноклассникам. Они, умудренные жизненным опытом люди, бойцы гражданской войны, давно и ясно представляли себе безысходность положения. И в последнем своем смертном бою хотели быть рядом друг с другом.

Теперь, собравшись в одну траншею, политруки лежали в один ряд на ее бруствере, тщательно прицелива-

лись, стреляли, неторопливо — спешить уже было некуда — переговаривались между собой короткими фразами, с полуслова понимая один другого, как когда-то на районных активах и совещаниях, и были по-крестьянски вежливы и обстоятельны.

По-стариковски пристраиваясь поудобнее и разложив вокруг себя огнестрельные припасы, как мастера кладут под руку инструмент, стреляли они с места, не уходя с него, и если опускались на дно траншеи, то только убитыми.

Медлительный, редкий, на выбор огонь стариков был страшен. Целый вал трупов громоздился перед траншеей политруков. И как по пулемету Кузнецова, гитлеровцы хлестали по ней огнем непрерывно.

Когда Железняков втиснулся в траншею политруков, ему навстречу шел политрук Корсунский, волоча за собой ящик с гранатами. Он распрямился, задышав и держась за сердце, но улыбался Железнякову.

— Виктор! Ну, что там у вас, что капитан думает?

Железняков рассказал, что капитан рассчитывает до ночи держать шоссе под огнем. А в ночь пробиться к дивизии. Он помог Корсунскому перетащить гранаты.

— Пригнись, политрук, — попросил он, видя, что пули взбивали снег на бруствере, обдавая их с Корсунским ледяными крошками.

Тот махнул рукой. Сил нет присесть. Набегался за эти дни, слоновье сердце нужно, а у него гипертония, он летом еле упробил комиссию в Ульяновске, чтоб в армию пропустили. Под Людково не пропускали — пробился.

Ну что для него сделать теперь, для старика, чем помочь больному сердцу его? Железняков дотащил ему гранаты на правый фланг траншеи политруков, выкопал ниши для них и ушел.

— Спасибо, Витя, — двумя руками сжал его руку на прощание Корсунский. — Век не забуду.

— Я еще приду, политрук, — сказал Железняков.

Щеки его пылали: хотелось вспомнить, как звать старика, и не удавалось, да, наверно, он и не знал этого никогда. — На обратном пути загляну.

Он обошел траншею, перешагивая через убитых, перекинулся словом с каждым живым и подошел к полковому медпункту — глубокой воронке, подправленной солдатскими лопатами.

— Комбат! — поднялись ему навстречу его артиллеристы. — Комбат! Живой!

Раненых было мало. Не дожили раненые до третьего дня. Всего-то лежало их здесь восемь человек. И среди них четверо его батарейцев: двое Поповых, Нестеров и Епишин.

Бредил, никого не узнавая, герой полка политрук Ненашкин, метался на подстеленных шинелях. Достала и его, неуживимого, немецкая бомба.

Возвращаясь, Железняков опять увидел Корсунского. Бледный и спокойный лежал он на дне траншеи. Две пули навсегда успокоили больное сердце политика.

Капитан Кузнецов, когда Железняков вернулся, сидел на пулеметных коробках и смотрел, как лейтенант Мухин чертил по дну окопа извилистые линии.

— Вот здесь... здесь и здесь, — показывал Мухин, — и здесь тоже, и не стреляют, и не видел их тут никто... Вполне мы можем прорваться.

— Докладывай, — кивнул Кузнецов Железнякову.

В полторы минуты уложился Железняков со всеми своими сведениями по всей обороне — шестьдесят семь человек в строю имел во второй половине двадцать пятого февраля тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Восемь раненых. Патронов мало. Гранат могло хватить и на завтра.

Бешеный минометный огонь обрушивается на траншею. Дым, огонь, треск, слов не слышно, хоть в самое ухо кричи, не слышно. Все сидят на дне и смотрят вверх.

А там по самому брустверу пляшет огонь, тает бруствер, становится зубчатым, как пила, растворяется.

Кузнецов, тронув Железнякова за плечо, показывает на себя и на борт граншей, обращенный в сторону Людкова, а ему в противоположную сторону. Оба вскакивают одновременно.

У Железнякова кружится голова, огонь плещет ему в лицо, бросает в глаза ледяную крошку, ничего не видно сквозь него и клокочущий дым. Но нужно привыкнуть, привыкнуть мгновенно, пока не снесло тебе голову, и увидеть, обязательно увидеть сквозь всю круговерть, где враг, не идет ли уже в атаку.

Сбросив перчатки, сжав пальцы в трубки, заслонив ими глаза как биноклем, обводит Железняков весь фронт слева направо и медленно, очень, как ему кажется, медленно справа налево.

Гитлеровцы лежат, где были, не движутся. Хорошо это или плохо — неизвестно, но он установил это точно.

На дне траншеи Мухин ватным тампоном вытирает ему кровь с лица. Ран нет, пустяки, посеколо щеки и лоб ледяной пылью, а может, и железной окалиной, и малыши осколками.

Они с Кузнецовым показывают на пальцах и друг другу и Мухину обстановку, а мины по-прежнему грочочут и пляшут над ними. Атаки нет. Так проходит пять минут, десять. Им кажется, что уже целый час бушует огонь, закальвая и разрывая их окоп.

Подымается наблюдать Мухин. Через некоторое время опять Железняков. Кузнецову подняться для наблюдения больше не дают, не хотят остаться без главного командира обороны. Но когда обрывается минометный огонь и крик атакующих немцев сливается в общий рев, первым опять стреляет пулемет Кузнецова. Капитан опять перебрасывает «дегтярь» с одного борта траншеи на другой, бьет, бьет, и гитлеровцы стихают. Поставив пулемет Мухину на спину, Кузнецов разгоняет группу

противника, идущую со стороны Проходов, и атака на этом кончается. Защитники траншеи опять все сидят на дне. И только неуязвимый капитан так и стоит, стреляя из пулемета по шоссе, сбивая с него разбегающуюся немецкую роту.

Мухин, обняв Железнякова, что-то говорит, а тот еле слышит, оглох, наверно, наполовину. Может быть, поэтому крик атакующих врагов казался ему каким-то тихим плачем. Но вскоре слух возвращается. Воевать еще можно.

Майор Страхов, в очередной раз доложив штабу армии, что по наблюдению из Проходов движение по Варшавскому шоссе у немцев не восстановлено, выслушав все, что ему оттуда говорят о необходимости наблюдать не только из Проходов, внимательно оглядывает округу. Он собрал сюда все, что было можно. Прочно держит Проходы, врезавшиеся в немецкую оборону между Медвенкой и Алферьевской. Противник уже несколько раз пытался перерезать узкий коридор, соединяющий Проходы с главной линией обороны в районе деревни Красная Горка. Но все атаки отбиты. Плотный минометный огонь и огонь пулеметов за холмами, открывающими шоссе, показывает, что там еще сражается десант, но что там может уцелеть, кто там может уцелеть, совершенно неясно. И еще больше неясно, как они, эти уцелевшие вопреки всем расчетам люди, могут препятствовать восстановлению переброски немецких войск.

Страхов поднимает глаза и видит лейтенанта Мареева.

— Вы мне и нужны, лейтенант, — спокойно говорит майор. — Вы, только вы. Вам почему-то все время везет.

Он показывает по карте дорогу туда, за холмы, где еще бушует огонь. Эта тоненькая ниточка меж холмов по докладам да и по собственным его наблюдениям не

занята немцами, она им ни к чему, а по ней, похоже, можно пробраться к десантникам.

— Или, в крайнем случае, — майор в упор смотрит в сияющие глаза лейтенанта, — если выхода не будет, то хоть по телефону успеть сообщить, что можно будет разглядеть за холмами.

Наверно, командир дивизии немало был бы удивлен, если бы узнал, что линия, обозначенная им на карте, почти совпадала с теми кроками, что чертил на снегу лейтенант Мухин, показывая капитану Кузнецову, где можно прорваться мимо немцев или сквозь неплотную их оборону.

— Возвращайтесь живым! — пожал майор руку Марееву. — Но знайте, важнее жизни каждого из нас то, что мы сможем доложить штабу армии.

Риск, риск, риск. Майор рискует Мареевым. Мареев должен рисковать жизнью. Ну, а с кем разделит, на кого возложит риск лейтенант Мареев?

На Баранкина. На сержанта, которого за эти дни он столько раз посылал в огонь, на смерть, на верную гибель, что у него язык не поворачивается, чтобы опять назвать его фамилию. Но когда командир сам идет на смерть, то не стыдно ему взять с собою любого, даже того, кто сегодня уже встречался с нею, кого она задевала косой, да не срубила.

— Баранкин, возьмишь катушку, аппарат, весь свой взвод, всех четверых...

В деловитости приготовлений растворяется тревога, уходит неловкость. Смерть — это не наверняка, они должны ее обмануть.

Командир дивизии не отрывает бинокля от маленькой группы, посланной им в неизвестность. Он не знает и не может видеть, что навстречу ей за холмами, скрывшими десант, по заваленным снегом ложинам пробирается навстречу Марееву группа лейтенанта Железнякова. Капитан Кузнецов согласился с лейтенантом Мухиным. Дей-

ствительно похоже, что существовал проход, по которому можно уйти.

Задумчиво глядя на Железнякова, капитан обронил слова, смысл которых сначала никто не понял.

— Везучие мы люди. Убивать нас убивают, а раненых только восемь.

Он что-то прикидывал, всматриваясь в мухинские кроки. А сидевшие с ним рядом на корточках люди в изорванных почерневших маскхалатах с недоумением смотрели на него. Почему это им везет, когда их убивает? Чем это хорошо?

— Как стемнеет, будем прорываться, — продолжил Кузнецов, — раненых в темноте не унести, потеряем, оставим...

Он опять помолчал, вглядываясь в кроки. И приняв решение, вскинул голову.

— Лейтенант! Отбери десять человек. Возьми пулемет. Дисков дам две коробки. Больше не могу. Прорвись с ранеными, выручи их и доложи там, что мы тут погибаем, но Варшавку будем держать до темноты. Все доложи. Все как есть.

Они быстро сближались, группа Мареева и группа Железнякова. Немцы не видели их. Они бы скоро соединились, если бы немцы не обнаружили связистов.

На перехват из Алферьевской высыпало около тридцати немецких солдат. Огнем из Проходов их остановили. Но немецкие каски возникли потом то тут, то там, ближе, ближе, и наконец несколько немцев с пулеметом перекрыли дорогу группе Мареева, которая все еще не видела ни немцев, ни приближающихся десантников.

Опасность, грозящую связистам, видели из Проходов, но помочь уже ничем не могли.

Железняков, тяжело дыша, тащил по глубокому снегу волокушу, с лыж которой был снят пулемет и поверх уложен самый тяжело раненный — политрук Ненашкин. Рядом с ним в ляжках тянул солдат с автоматом. Несте-

ров и Епишин тяжело шагали сзади, не позволяя ни уложить себя, ни поддержать. За ними шли волокуши с Поповыми. Замыкающими двигались два сержанта с ручным пулеметом. Перед ними ковыляли раненые пехотинцы.

Бокового охранения Железняков не высылал: нечего было ждать, что немцы будут бродить всюду по глубокому снегу, но впереди на большом удалении шел дозор — трое автоматчиков. Он-то и обнаружил за изгибом ложины гитлеровцев, перекрывших им дорогу.

К счастью, немецкие солдаты и не подозревали о десанниках, вышедших им в тыл. Все внимание их было приковано к связистам, тянувшим провод от Проходов.

Расчет немецкого пулемета изготовился для стрельбы, ему уже махали наблюдатели с вершины холма — мол, противник уже здесь, сам лезет в пекло, когда Железняков и Нестеров подползли к дозору, просигналившему им о противнике. За ними туда же вылезли и сержанты с ручником. Немцы в их сторону даже не оглянулись, так им хотелось разделаться с обреченными на гибель связистами.

Железняков, уже пересчитав всех немцев, не мог сначала понять, что они здесь делают. Окопов тут не было и значит это еще не линия обороны. Каких-нибудь тропинок, землянок, дорог тоже не было, не было это похоже и на тыловое расположение. Следы всех пятнадцати немцев — это было ясно видно — только что были проложены по целине.

— Учения, что ли, — предположил Епишин, — тренируются, что ли?

Старшина притащил с собою две снайперские винтовки. Он и в обороне любил раньше точный выстрел и всех учил обращению с оптическим прицелом.

— Михаил! Рука не подведет, уложишь самого дальнего фрица? — спросил Железняков.

Лейтенант очень не хотел, чтобы хоть один из этих

немцев остался в живых. Стоит кому-нибудь сообщить об их группе, и напрасны будут все труды и муки, с ними тут разделяются запросто.

— Я беру вместе с Нестеровым на себя пулеметчиков, — решил он, взяв вторую снайперскую винтовку.

Остальных немцев — по два на каждого — поделили так, чтобы не все пули в одного, а другим ничего.

И тут по крутому спуску оврага кубарем скатились связисты Мареева. Скатились, радуясь тому, что под уклон двигаться легче, кляня крутые снежные холмы, скатились прямо под дула немецких автоматчиков.

— Вот оно что! — ахнул Нестеров. — Вот для кого. Засада!

Коротко прорычал немецкий пулемет, взбив снежную пыль позади связистов. С холмов, стреляя на ходу, но тоже поверх голов, двинулись к ним гитлеровцы.

— Живыми берут, — прицеливаясь, зло проговорил Епишин. — Ну, не выдай, родная.

Они не думали сдаваться живыми, связисты тысяча сто пятьдесят четвертого полка. Три винтовки ударили по пулемету снизу. Еще одна с вершины холма. Оттуда же донеслись и pistolетные выстрелы.

Вверх ударил пулемет — по лейтенанту Марееву и бойцу, шедшим позади. Вниз — по сержанту Баранкину и двум телефонистам. Немецкие автоматчики тоже стали бить в цель, не над головами.

— Огонь! — подал сигнал Железняков и приник к прицелу. Немецкий пулемет подавился очередью.

Второй номер перехватил приклад, но тоже ткнулся лицом в снег. Пяти минут не прошло после первого выстрела из немецкой засады, а уже последнего петляющего по снегу немца, бросившего оружие и удирающего, что было сил, сразила пуля.

— Ур-ра! — кричал лейтенант Мареев. — Ур-ра!

Он кубарем катился сверху на помощь сержанту Баранкину, паля по немцам из pistolета и не понимая до

конца, что произошло, откуда пришла беда и откуда свалилась неожиданная подмога.

— Снять капюшоны! — скомандовал Железняков. — Поднять «дегтяря» над головой! Вперед!

Группа, сбросив капюшоны, обнажив красноармейские шапки, двинулась навстречу. Связисты сначала изготавились было к бою, но опознав красноармейскую форму, бросились к ребятам с раскрытыми объятиями.

Телефон, пробитый несколькими пулями, молчал. Поэтому доложить командиру дивизии ничего было нельзя.

Нестеров и Епишин лежали в снегу, оставшись совсем без сил, бледные, с восковыми, неживыми лицами. Железняков сел рядом с ними. Пощупал для чего-то пульс у Епишина. Что он мог там понять, чем помочь?

— Комбат, — тихо сказал Епишин, — жизнь уходит, комбат. Не зря, правда? Я вот слушаю все, наши вроде взяли Юхнов.

Лейтенант прислушался. Действительно, гул артиллерийской пальбы, не смолкавшей все трое суток, стал значительно громче и ближе. Он даже снял шапку, чтобы не мешала слушать. С севера тоже неслись звуки ожесточенного боя. Но там они были глуше, удалялись.

Железняков прикусил губу, озлясь на себя: надо же, на самое главное он весь день не обращал внимания. Слышать-то слышал, конечно, канонаду, но все шло мимо сознания, мимо, будто не ради того, что вершилось сейчас там, под Юхновом, дрался, погибая на Варшавке, тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Нестеров вяло шевельнул рукой, привлекая внимание.

— Я тоже с утра слушал... Взяли... Точно взяли.

Он закрыл глаза, обессилев.

Железняков схватил его за руку. Пульс есть. Дался ему этот пульс. Глаза — вот главное. Он оттянул веко — пусты глаза, ни на что не реагируют.

— Нестеров! Нестеров! Ты меня слышишь? — за-

орал лейтенант, чувствуя, что горло перехватывает чем-то, и не зная, что делать.

Опять слабо шевельнулась рука и открылся уже осмысленный взгляд.

— Ничего комбат, — прошептал раненый, — сердце что-то зашло. Да не бойся, не подведем.

Надо торопиться. Чего доброго... Но он сам не позволяет себе додумать до конца то, что и так ясно понимает.

Лейтенант-связист все еще возится с разбитым телефоном, боится расстаться с аппаратом, хотя какой уж это аппарат — металлолом. Железняков бьет его по плечу.

— Ну, что будем делать?

— У меня приказ — установить связь с десантом.

— Установил. Я — десант.

Лейтенант Мареев смотрит на него с недоумением, потом лицо его озаряется улыбкой: действительно, от кого больше узнать о десанте, чем от десантников. Срочно, немедленно нужно доложить все командиру дивизии.

— Возвращаемся!

Лейтенант Железняков, опустив голову, стоит в раздумье. Через минуту он подымает глаза, и, поймав его взгляд, встает на четвереньки, встает, хватая воздух ртом и цепляясь за рядом стоящих солдат, Нестеров. За ним Епишин.

— Комбат, не надо!

— Ребята, — грустно говорит им Железняков, — ребята, не могу.

И обращается к связисту.

— Прими под охрану моих раненых. Я возвращаюсь к капитану.

— Может, не надо? — неуверенно спрашивает Мареев. — Может, вместе будем пробиваться?

Никто здесь сейчас не властен над жизнью и смертью лейтенанта Железнякова. Никто. И очень хочется ему

уйти в Проходы. И объяснение есть. И приказано ему. Но стоит перед его глазами капитан Кузнецов. Стоит, перебрасывая пулемет через себя с севера на юг, с запада на восток. Бьет, бьет, бьет. Открытый по пояс лубой пуле, в последнем окопе, одним последним пулеметом перекрывает все движение немцев по Варшавскому шоссе — выполняет задачу, за которую лег под Людковом тысяча сто пятьдесят четвертый полк.

Нет, окончательно решает Железняков, не может он не вернуться к капитану. Связисты знают дорогу, связисты и его группа доставят раненых, он возвращается.

Но одному ему назад, пожалуй, не пробиться.

Тяжкий выбор — кого взять с собой на верную, быть может, смерть. Отделить тех, кому придется умереть, от тех, кому может посчастливиться жить.

Легко рисковать собою, распоряжаться собственной жизнью, а вот чужою...

Но выбирать не пришлось: сержанты-пулеметчики встают рядом с ним.

— Мы с вами, товарищ лейтенант, — коротко и четко, не оставляя себе никакой возможности перерешить, заявляют оба в один голос.

— Прощай, комбат! — не стесняясь, плачет Нестеров. Все здесь: и боль утраты, и собственная боль, и усталость.

— Прощай, комбат! — обнимает его старшина Епишин.

— Витя... — в последний раз не то просит, не то спрашивает Мареев.

— Нет, Женя, нет, — торопливо, чтобы быстрее кончилось все, отвечает Железняков. — И быстрее давай, дотащи ребят живыми.

Он еще раз уточняет для передачи комдиву — в полку пятьдесят шесть живых. Один, нет, теперь два пулемета. Патронов мало. Держаться будут до ночи. От Людкова в одном километре. А немцев, немцев вокруг...

Если можно, пусть дадут по ним. Он отмечает на чистой карте Мареева, куда стрелять артиллерии.

— Лейтенант, ты ненормальный! — смеется капитан Кузнецов. — Кто тебе разрешил вернуться? Тебя придется расстрелять за невыполнение приказа.

Смеется он недолго. Опять захлебываясь бьет его пулемет. А Железняков обходит защитников последнего окопа. И удивляется, удивляется: раненых нет. Но убитых! Нет живого места на дне траншеи. Трудно и страшно идти по окопу.

Мареев передаст комдиву, что их пятьдесят шесть, качает он головой. А их уже и тридцати не наберется. В траншее политруков живых только трое.

Черный от копоти, невысокий худой политрук Куркин хватается Железняка за руку.

— Ну, вынес ты Ненашкина, вынес?

И нервно обнимает его. Они с героем полка Ненашкиным дружили и не расставались с детства. Теперь он может умирать спокойно.

Ночью непривычно темно: нет в небе немецких ракет.

А на шоссе, которого теперь совсем не видно, шум походного движения и гул моторов.

Кузнецов несколько раз бил в ту сторону длинными очередями, но шум движения немцев не обрывался. Да и что может сделать один пулемет во тьме, неприцельным рассеянным огнем вдаль.

Трое суток десант не давал немцам двигаться по шоссе, держал его, не было по нему хода никому. Вдвое, втрое дольше, чем в силах человеческих, чем можно было рассчитывать, держался десант. Нет больше десанта. Есть двенадцать человек. Двенадцать. Последних живых в тысяча сто пятьдесят четвертом полку, собранных капитаном Кузнецовым в один кулак.

Под Юхновом и где-то совсем близко не прекращается гул артиллерийской канонады. Вытянув шею, вслушиваются в него двенадцать изможденных, черных от копоти, голодных людей с винтовками и немецкими автоматами в руках, в изорванных маскхалатах. Взяли или нет наши Юхнов? Взяли или нет?

— Если бы взяли, потише было бы со стрельбой, — роняет кто-то сомнение.

— Назад хотят отобрать. Контратакуют, — опровергают его. — Еще сильнее должны бить.

Юхнов. Небольшой старинный русский город на пути к Москве. Сколько же крови за тебя было пролито! Дорогой ценой вернет тебя армия Родине — один из самых первых освобожденных ею городов. Последний город, взятый в московском контрнаступлении.

— Уверен, что ни одного раненого не оставили в окопах? — в последний раз допытывается капитан у Железняка.

Лейтенант по его приказу два раза обошел траншею. Каждого, кто еще не остыл, не окоченел, потрогал, перевернул. У каждого сердце послушал.

— Живых там больше нет, — упрямо процедил он сквозь зубы: трудно досталось ему последнее прощание с товарищами. — Нет живых. И раненых нет. Все, кто есть, — здесь.

Лихорадочно блестящие круглые глаза придвинулись к самому лицу Железняка.

— Стисни зубы, лейтенант. Держи себя в руках. До конца... — Он не заканчивает, капитан Кузнецов, он сам едва справляется с собой. И волнение, и силы на пределе. Но вздрагивающий его голос тут же обретает твердость: — Идем на прорыв. Первым я и артиллерист: он уже ходил этой дорогой. Последними...

И снова миг раздумья. Кого оставить последним? Первые, если пробиваться силой, может быть, и провуются, последние — едва ли.

Кузнецов устанавливает пулемет, нацелив его на Варшавское шоссе. Последний расстреляет половину диска по движущимся там немцам. Потом несколько очередей по фашистам, обложившим со всех сторон окоп. Но уже не торопясь, не подымая противника на ноги, не всполошив его. Даже из винтовок, перебегая по окопу, пусть постреляет последний, чтобы врагу казалось, что все идет так, как и было час-два назад.

Кто-то кладет руку на плечо Кузнецову.

— Капитан, я останусь. Прикрою вас...

Невысокий, очень худой человек, насквозь прокопченный пороховым дымом, еле различим в темноте. Но его узнают. Все. И у каждого радость избавления от необходимости самому остаться одному в этом окопе, видя, как исчезают во тьме, и, может быть, навек люди, ставшие самыми родными на земле, смешиваются с неловкостью, с чувством вины, с неприязнью к самому себе за эту радость. Потому, что решил остаться у пулемета самый старший из них, старше Кузнецова, самый старший — политрук Куркин.

Последний политрук полка.

Николай Сергеевич Куркин.

Капитан Кузнецов дважды называет его по имени и отчеству. Чтобы каждый, кому выпадет жить, унес с собой это имя, чтобы те, кто будет жить, знали...

— Передайте там, в Карсун, если что. Не забудьте, Карсун, — тихо говорит Куркин, прилаживаясь к пулемету.

— Не забудем, Николай Сергеевич, — также тихо отвечает капитан. — И ты не забудь — через двадцать минут иди по нашему следу. Мы будем ждать.

И сблизив головы тесным кружком, слушают одиннадцать человек властный шепот капитана, в котором звучит колокольная медь.

— Полк! На прорыв. За мной!

Уходит тысяча сто пятьдесят четвертый полк. Уходит

десант, уходит с Варшавского шоссе. Уходят одиннадцать человек, уходят, выполнив боевую задачу. Оставляя в немецком тылу шестьсот своих мертвых товарищей и одного живого. Прислушиваясь, как совсем уже близко, километрах в двадцати от деревни Людково, яростно хлопочет немецкая артиллерия.

Неделю спустя в центре разбитого, искалеченного, полусожженного, но свободного города Юхнова генерал-лейтенант Болдин, командующий пятидесятой армией, обнимает генерал-майора Захаркина, командующего сорок девятой армией. Их войска вступили в город Юхнов.

Слушает вся страна радостный голос московского диктора: «...Войсками Западного фронта... освобожден город Юхнов... Особо отличились... войска генерал-лейтенанта Болдина, генерал-майора Захаркина...»

Не слышат этого в деревне Проходы капитан Кузнецов, политрук Куркин, лейтенанты Железняков и Мухин — никто из двенадцати десантников, прорвавшихся к триста сорок четвертой дивизии в ночь с двадцать пятого на двадцать шестое февраля тысяча девятьсот сорок второго года. В медсанбате не слышат старшина Епишин и красноармейцы Нестеров с Поповым. Даже начальник связи тысяча сто пятьдесят четвертого полка лейтенант Мареев не слышит: вышла из строя единственная полковая рация.

Четвертое марта тысяча девятьсот сорок второго года. Теплый солнечный день только что начавшейся весны.

Невероятным кажется, что всего неделю назад было под тридцать градусов мороза.

